## Драма на Ниобее

# Сергей Снегов

1

В Музее Космоса всегда было полно посетителей. Всего больше их скапливалось в «романтических» залах — так у сотрудников Музея именовались четыре помещения со стереографиями планет, моделями звездолетов, муляжами зверей, растений и рыб, огромными панно равнин, горных хребтов и вулканов, звездными картами знаменитых космических рейсов, где светила складывались в сочетания, несхожие со звездными пейзажами Земли и солнечных планет. «По необычному облику местных небес вы сразу понимаете, как далеко в космос проникли уже наши первые звездопроходцы, их успехи и представлены в этих залах», — увлеченно говорил посетителям экскурсовод, элегантный робот, смахивающий скорей на подвижного паренька, чем на ученый автомат. И, переходя от звездных карт и стереографий к стоявшим тут же статуям прославленных астронавтов, он дотрагивался указкой до каждой статуи — она оживала и говорила голосом умершего звездопроходца, как шел его рейс и что этот рейс дал миру.

Кроме «романтических» залов, в Музее Космоса были и залы технологические. Здесь среди посетителей преобладали не экскурсанты, а специалисты — знакомились детально с условиями полетов, с природой далеких миров, образцами минералов, особенностями жизни, если жизнь была. Тысячи проблем рождал каждый космический рейс, о многих зрительно оповещали экспонаты. И посетители этих залов не прохаживались в них, не бросали по сторонам любопытные взгляды, а садились перед каким-либо облюбованным экспонатом и возились с ним, осматривали, трогали, вдумывались в его назначение...

Был еще один зал, «пантеонный», так он именовался на музейном жаргоне, хотя и мало напоминал тот торжественный Пантеон, что высился на Главной площади Столицы. В официальном Пантеоне, усыпальнице великих людей человечества, стояли саркофаги с их телами, в зале звучала тихая музыка, посетители переходили от одного саркофага к другому, слушали негромкую справку о жизненном пути того, на чью статую и усыпальницу сейчас смотрели. В Пантеоне души настраивались на величественный лад истории. А в «пантеонном» зале Музея Космоса не было и тени величественности, это был скорее склад, а не выставочный зал, но склад, хранивший сокровища — навечно сохраненный мозг знаменитых покорителей космоса. И пускали сюда лишь по особому разрешению директора Музея Космоса. Ибо здесь нечем было любоваться, нечем восхищаться, ни о какой беде, приключившейся с героями космоса, не приходилось скорбеть. Вдоль стен стояли ванны из прозрачной стали, в каждой, в специальной жидкости, плавал вынутый из черепной коробки мозг умершего астронавта, удостоенного такого почетного отличия. Возле ванны возвышался на урне из малахита, как на постаменте, мраморный бюст того, кто некогда был обладателем мозга, а в урне покоился его прах. Это был архив, а не выставка, хранилище ценностей, а не объект для зрелищ, и, пожалуй, напрасно музейные работники присвоили этому залу пышное название «пантеонный». Впрочем, оно выражало не так внешнюю обрядность зала, как их собственное отношение к тому богатству, что в нем хранилось.

Но однажды в летнее утро 2183 года директор подписал разрешение посетить «пантеонный» зал группе экскурсантов. Двадцать семь выпускников Высшей школы звездоплавания пожелали на прощание с Землей — их всех переводили на инопланетные базы — познакомиться и с этим всегда закрытым помещением. Группу принял консультант Музея, немолодой мужчина, высокий, красивый, широкоплечий, с большими ярко-голубыми глазами. Он с любопытством оглядел группу.

— Больше половины — женщины, — констатировал он низким, хрипловатым голосом. — В мое время женщин в космос старались не брать.

— С тех пор многое изменилось, — вежливо возразил староста группы экскурсантов. — Космос, впрочем, и в ваше время нигде не был заколочен досками для женщин.

Консультант усмехнулся:

— Заколочен досками не был, верно. Но звездные рейсы имеют свои особенности. Вы все астронавигаторы?

— Двое штурманов дальнего звездоплавания, шестеро астронавигаторов второго разряда, остальные — инженеры разных специальностей, — отрапортовал староста и поинтересовался: — Собственно, о каком времени вы говорите, как о своем? Оно давно было?

— Лет сорок назад. Что вы смотрите с таким удивлением? Мне уже под девяносто.

Лет шестьдесят консультанту можно было дать, но не больше. Экскурсанты изобразили на лицах почтительное удивление и промолчали. Консультант поручил экскурсию человекообразному автомату с румяным лицом и широкими усами, он, видимо, копировал кого-то из астронавигаторов, невысокого, плотного, очень энергичного, — посетители все же не припомнили оригинала. Голос робота им показался знакомым, он восстанавливал чей-то давно слышанный — экскурсанты на лекциях часто прокручивали пленки с рассказами звездопроходцев об их экспедициях. И если бы автомат повторил хоть одну из прославленных чеканных фраз старых героев, напомнил бы хоть об одном знаменитом приключении, слушатели не затруднились бы установить, чей голос воспроизводил робот. Но он не рассказывал о космических драмах, победах, неудачах, а читал как по писаному обычную музейную лекцию. Профессора Высшей школы звездоплавания излагали свой учебный материал интересней.

— Все первые астронавты были титанами ума и характера, — вещал усатый автомат, — Но несовершенная техника двадцать первого века была бессильна сохранить их интеллект в его биологической целостности. Только семьдесят лет назад нашли способ консервировать живые клетки. В нашем Музее сохраняется тридцать четыре мозга тридцати пяти великих австронавигаторов, извлеченных из их черепных коробок в момент смерти. Мозг, конечно, сейчас не действует, но и не разрушается. Он хранится для будущих поколений в своеобразном «Банке интеллектов». Почему для будущих, а не для настоящих? Сегодня воскресить мозг можно, лишь вживив его в тело нормального человека, но кто захочет расставаться со своим мозгом ради чужого, хотя бы и великого? Но в будущем найдут способ оживления любого мозга, отделенного от своего носителя. И тогда обратятся в наш «Банк интеллектов» за займом могучих характеров и выдающихся умов. И великие люди прошлого оживут и будут реально — и с того момента вечно! — участвовать в общественной жизни. Какое огромное богатство приобретет человечество! Каждый выдающийся ум уже не погибает в момент смерти его владельца, или, скажем так, мозгоносителя, а рождается как бы заново — и навечно-в независимом от тела существовании. Вот для чего создан наш уникальный «Банк интеллектов», где самые блестящие личности прошлого зарезервированы для будущего.

Робот сделал остановку, и этим воспользовался староста группы. Этот худой, высокий парень, с необычно большими для мужчины глазами и энергичным — лопатой — подбородком, выделялся живостью и любознательностью.

— Вы сказали, что в этом зале хранится тридцать четыре мозга тридцати пяти знаменитых астронавтов. Мне кажется...

Усатый робот не дал ему договорить.

— Правильно! Один мозг отсутствует. Прах его хозяина Василия Штилике покоится в своей урне, а мозг был использован для нормального функционирования в другом теле. Мы как раз подошли к этому прославленному астронавту, можете посмотреть его урну.

На урне из малахита — она ничем не отличалась от тридцати четырех других урн — возвышался бюст усатого мужчины. На постаменте красовалась надпись: «Василий-Альберт Штилике, астросоциолог. Погиб 49-ти лет от роду на планете Ниобея». Экскурсанты переводили взгляды со статуи на робота, теперь они поняли, кого он напоминал: робот копировал человека, изваянного в мраморе. Все в нем было повторением знаменитого астронавта — и лицо, и голос, и рост. Староста группы сказал:

— Я понял все. Мне кажется теперь...

И опять робот прервал его:

— Вы не поняли. Было не так.

— Но вы ведь не знаете, что я хотел сказать.

— Все знаю!

Робота, очевидно, наделили не только внешним сходством с прославленным Василием Штилике, ему придали и черты его характера. Из биографии астросоциолога, погибшего на страшноватой Ниобее, явствовало, что он был упрям, бесстрашен, быстр в соображении и вообще ему любое море было по колено, что он неоднократно и доказывал, подвергая себя необычайным опасностям.

Робот улыбнулся, как человек, — вероятно, и улыбка, насмешливая, но не оскорбительная, была скопирована с его живого прототипа.

— Говорю вам, все не так, как вам показалось. Нет, меня не удостоили чести стать носителем мозга великого Штилике. Я копирую только внешность этого выдающегося человека. Его интеллект восстановлен в живом человеческом теле, а я не тело, я лишь конструкция.

Энергичный староста, похоже, взял себе право выражать общее мнение и задавать интересующие всех вопросы.

— Вы сказали, интеллект Штилике восстановлен в живом человеке, а не в конструкции? На этот раз я правильно понял? (Робот кивнул.) Но перед этим вы же объяснили, что внедрение мозга, сохраняемого в вашем «Банке интеллектов», в другой живой организм пока не практикуется. Я верно воспроизвожу ваши слова?

— Все верно. Было сделано одно исключение. Впрочем, такие вопросы вне моей программы.

— А этот удивительный человек, столь легко распростившийся с собой ради...

— Тоже нет. Подразумеваю, что вы просите назвать фамилию нового обладателя интеллекта Штилике.

— И это вне вашей программы? Жаль! Было бы очень интересно познакомиться с живым носителем интеллекта Штилике.

Консультант, молчаливо стоявший в стороне от группы во время разговора робота со старостой, вдруг вмешался в их беседу:

— Почему вас, юноша, так заинтересовал астронавт Штилике?

Староста живо повернулся к нему.

— Меня интересует Ниобея, а не сам Штилике. Впрочем, и он тоже, — тут же поправился староста. — Ибо этот замечательный астронавт сыграл такую роль в истории этой планеты и показал нам, молодым, такой пример мужества и проницательности, такое сочетание...

Консультант, нахмурившись, прервал старосту группы — ему явно не по душе был восторженный тон молодого астронавта:

— Вы сказали, что вас интересует Ниобея. Почему?

Староста разъяснил, что на Ниобею направляется большая комплексная экспедиция — биологи, астросоциологи, строители, инженеры. Естественно, что все, связанное с личностью человека, так много сделавшего для благополучия Ниобеи...

— Благополучия Ниобеи? — снова прервал молодого астронавта консультант. — Какое уж благополучие! Пылающая во внутреннем жару планетка, вырождающиеся нибы... Подберите, юноша, другую характеристику, эта не годится.

— Благополучия! — решительно повторил молодой астронавт. — Это самая точная характеристика. Боюсь, вы плохо осведомлены о положении на этой планете. Оно иное, чем представляется вам. Знакомы ли вы с программой для Ниобеи, разработанной сорок лет назад Штилике?

— Программу Штилике я знаю. Но, по-моему, к ее реализации еще не приступали...

— Вы безнадежно отстали, — радостно объявил большеглазый староста экскурсантов. — Я и мои товарищи летим на Ниобею именно для реализации той программы. Наконец пришло время и для нее. И уверяю вас, успех гарантирован! — Он живо добавил: — Вы мне не верите?

— Нет, почему же? Но верить или не верить — понятия, отличные от понимания. Мне хочется понять, а не только верить. Разве на Ниобее значительные перемены?

Юный староста показал, что не только наделен энтузиазмом, но способен вести и аргументированные дискуссии.

— Раньше говорили, что вера без дел мертва. Только реальный успех доказывает, что вера в успех была правомочна. Нет, на Ниобее не произошло пока значительных перемен. Но мы отправляемся туда, чтобы создать такие перемены. Вы скоро услышите о нашей работе!

Консультант проницательно глядел на разгорячившегося юношу.

— Как вас зовут, друг мой? — спросил он.

— Курт Сидоров, так меня зовут. Имя это вам ничего не говорит. Пока...

— Буду ждать сообщений о ваших успехах, Курт Сидоров. — Консультант поклонился. — Простите, мне надо уйти.

Он пошел к выходу. Староста группы крикнул вслед:

— А вас как зовут? Вы не назвали себя, а надо же нам знать, кому адресовать сообщения о делах на Ниобее.

Консультант обернулся. Лицо его осветила улыбка.

— Штилике, — сказал он. — Василий Штилике, так меня зовут.

2

Он слышал за собой гул голосов. Уже не один энергичный староста, но и все его товарищи переговаривались, засыпали вопросами усатого робота, так близко воспроизводившего внешность знаменитого астросоциолога. Робот что-то твердил, несомненно, отбивался от всех вопросов запрограммированными для этой темы краткими фразами: «Не знаю», «Не имею права», «Вне моей программы». Кто-то побежал за консультантом. Штилике ускорил шаг. Не надо было объявлять себя этим юным энтузиастам подвига, он поступил неблагоразумно. Им, конечно, мало его фамилии, им надо знать обстоятельства его перевоплощения, он сам на их месте требовал бы того же, теперь они долго не угомонятся. Ладно, пусть волнуются, это не повредит их работе на Ниобее, раз уж стала возможна там какая-то полезная работа.

Шаги за спиной смолкли. У двери Штилике обернулся. Конечно, это был он, большеглазый, худой романтик космоса, он почти догнал, но понял, что преследование бессмысленно, остановился, заколебавшись, вот теперь повернулся, возвращается к товарищам. Все в порядке, можно не торопиться.

Штилике все тем же торопливым шагом вошел в свою комнату, захлопнул дверь, перевел дух. Взволноваться оттого, что назвал себя! Как будто в названии не обозначение, кто ты, как будто в нем признание в каком-то важном поступке... нет, в проступке, а не в поступке. Нет, и не это — в чрезвычайном событии, вот в чем он сегодня признался этим прекрасным молодым людям, этим своим последователям, может быть, даже своим ученикам. Зачем он это сделал? Что принудило открыто объявить то, что известно лишь немногим, что за давностью лет стало почти тайной? И, признавшись, убежал! Василий Штилике трусливо бежит! И от чего бежит? От кого? От себя, так получилось! Он, никогда не отступавший перед опасностями, а сколько их было за его долгую, за его трудную жизнь! Таким его всюду знали — бесстрашным, упрямым, непоколебимым, таким все называли — кто с неприязнью, кто с уважением, — он и сам уверовал, что такой. А от кучки юнцов вдруг побежал, устрашившись их вопросов. Почему? Он должен точно ответить себе — почему? Он стал себе непонятен. Он должен себя понять!

Штилике сел на диван, рассеянно осмотрелся. Все было на месте в маленькой комнате. Большое окно открывалось в сад, несильный ветер раскачивал вершины сосен, они напевали протяжным, глухим шепотком, а подальше, на холмике, плясали две елочки — отсюда, из комнаты, чудилось, что они не только покачиваются, но и грациозно перемещаются по холмику, стараясь не то догнать друг дружку, не то приветно обхватиться лохматыми ветвями. А на стене против окна сияли красочными переплетами старинные книги; любимое занятие — ворошить и перелистывать печатные шедевры двадцать первого века. На другой стене — фото и стереографии, пейзажи, схемы, портреты. Штилике вдруг удивился. Все в этой комнате было так навечно узнано, что и не ощущалось, просто было, как у каждого есть руки, глаза, ноги — ничего необычного, не от чего поразиться. Штилике осматривал тысячу раз виденную, почти уже не воспринимаемую комнату — нет, до чего же все словно бы впервые увидено!

Он смотрел на книги и удивлялся, как много не успел прочитать в этом хорошо подобранном собрании. А ведь собирал, чтобы прочесть, но так и не выбрал свободного времени на неторопливое чтение, а что прочитал, то, наверно, так позабылось, что осталось лишь представление о сюжете — читал бы снова и воспринимал бы, как почти неизвестное. Вдруг вспомнилось горькое признание Теодора Раздорина, наставника и друга, он тогда медленно умирал, великий звездопроходец, суровый командир, глубокий мыслитель. И он сказал: «Василий, я не жалею, что прожил так, а не по-другому, жизнь была хороша, но одно мне грустно, Василий, — столько прекрасных, столько великих книг в моей библиотеке, а я ухожу в небытие, так и не прочитав их все!»

«Я тоже скоро уйду в небытие, — подумал Штилике, — и тоже не прочитав всего, что собрано в этой комнате, а ведь в ней много меньше книг, чем было у моего учителя, и читал я много меньше, чем он. Сколько же сильней его мне горевать, а я не горюю, только с сокрушением говорю себе: много, много высоких радостей мог доставить себе, а не доставил!»

Штилике подошел к развешанным на стене портретам: три женщины в центре, двое мужчин по краям. Он всматривался в них, как если бы впервые увидел. Все пятеро давно умерли, все пятеро вечны в его мыслях — к чему рассматривать как бы со стороны то, что душевно нетленно? Он шевелил губами, беззвучно твердил себе слова, какие уже тысячу раз повторял и какие при каждом повторении звучали все так же больно и сильно.

«Я так любил тебя, Анна, — говорил он той, что была в центре, темноволосой, веселоглазой, высоколобой, — я жил тобой, моя единственная, и когда ты угасла от неведомой болезни, бича проклятой самой природой планетки со страшным названием Эринния, я твердил себе: не переживу, пусть и меня сразит та же тяжкая хворь, что сражает сейчас мою жену. Но ты умерла, а я жив, и долгих десять лет, проклятых лет, благословенных лет, сражался со зловещей планеткой и победил ее — уже никому она не грозит страданием и смертью!»

«И тебя я любил, — говорил он женщине, что улыбалась, красивая и радостная, справа от жены. — Любил, но не спас, когда погибала, сам обрек тебя на гибель, так кинул мне в лицо человек, который был тебе гораздо ближе, чем я, — вот он еще правей на стене, рядом с тобой».

«А тебя не любил, — говорил он третьей женщине, той, что была слева от Анны. — И ты меня ненавидела, и я порой гордился твоей ненавистью. Но видишь ли — хотя ты этого при жизни не хотела видеть, а сейчас уже не увидишь, — я жалел тебя и сочувствовал, твоя ненависть ко мне была лишь особым выражением твоей преданной, твоей жертвенной привязанности к другому человеку, моему противнику, тому, чей портрет касается слева твоей рамки, — как было не понять тебя!»

«Вот все вы здесь, все пятеро, друзья и недруги, вас никого уже нет в живых, все вы во мне и со мной, ибо вы, быть может, самое яркое в том, что я называю „моя жизнь“».

Штилике вернулся к дивану, откинул голову на мягкую спинку. Итак, эти чудесные парни и девушки страшно взволновались, узнав, что перед ними знаменитый Штилике, столько ведь приходилось читать и слышать об освоении Эриннии, о делах на Ниобее, наверно, и курсовые экзамены сдавали, непрерывно поминая эту фамилию — Штилике, Штилике, Штилике... И портреты твои развешаны в учебных аудиториях, наизусть все вытвержено: невысокий, широкоплечий, сутулый, усатый, с запавшими темными глазами — в общем, такой, что, «отвернувшись, не насмотришься». Впрочем, знаменитостям уродливость прощается... А все же какая разница между устоявшимся представлением о некрасивом и в молодости, а сейчас, наверно, дряхлом, уродливом старце, если он еще жив, и тем величавым, уже немолодым, но еще статным мужчиной, каким ты перед ними предстал! Было чему поразиться! И законно потребовать объяснений, как стало возможно такое превращение? А ты сбежал от расспросов. Нет, не только облик твой переменился, характер тоже, раньше ты ни от чего не бегал!

— Ну и сбежал, ну и пусть! — вслух закричал Штилике. — Мои превращения — мои личные дела. Есть еще и такая область — интимность.

«Без истерики! — мысленно одернул себя Штилике. — Давно обветшала твоя мелкая интимность. Да и была ли? Ты в некотором роде историческое явление. Соответствуй себе!»

— Не мог я разговаривать с тем большеглазым, — устало вслух сказал Штилике. — Одно дело — работа, исторические решения... Другое совсем — Ирина, Виккерс, Барнхауз, Агнесса... Зачем возобновлять старые споры? Вряд ли они заинтересовали бы этих молодых людей.

И опять он мысленно опроверг сказанное вслух:

«Заинтересовали бы! Они летят на Ниобею. То, что ты называешь интимностью и старыми спорами, неотделимо от реальной истории планеты. А между прочим, в официальном отчете Академии наук ты и словечком не обмолвился о своем отношении к Ирине и Агнессе, к Барнхаузу и Виккерсу. Твой отчет был неполон и необъективен».

— Я рассказал о драме на Ниобее...

«События изложил, а чувства? Разве ваши настроения, ваши желания, ваши характеры не сыграли там, быть может, решающей роли? И не называй, пожалуйста, события на Ниобее тусклым литературным словцом „драма“. Была трагедия — и не личная, а социальная. И те, кто вслед за вами направляются ныне на эту столько лет запретную планетку, имеют право знать, что на пей происходило, хотя бы для того, чтобы не повторять ваших ошибок».

— Если экспедиции на Ниобею возобновлены, то и даны подробные программы, как вести себя на ней.

«Были ли у вас такие программы?»

— У нас не было, у них должны быть! Напрасно, что ли, я писал свои отчеты?

«Ты писал отчеты о событиях, а не о душах. Как и вы, эти ребята не лишены страстей, надежд и мечтаний! Как загорелись их глаза, когда они услышали, кто ты! Будут, будут среди них и свои Барнхаузы и Штилике, Ирины и Агнессы. Они должны знать, какой нелегкий путь пролег для вас на планете».

— Не мог я бесстрастно — лекционно! — говорить о наших спорах, о пашем горе, о негодовании и отчаянии, попеременно захватывавших нас... Раскрываться, как на исповеди!.. Милые, но все же чужие люди!

«Согласен. Но мог. Вон там лежит диктофон. Возьми и говори. Ничьи глаза здесь но смущают тебя. Пусть люди, идущие за тобой, знают и то, что осталось нераскрытым в твоих отчетах».

Штилике взял диктофон и заговорил.

3

Я не люблю себя. Я никогда себя не любил. Были часы, когда нелюбовь к себе превращалась в негодование на себя. Тогда я враждовал с собой. Нет, во мне не было двоесущия, я не страдал от раздвоения личности. Я всегда был один — один облик, один характер, одни жизненные цели, одни способы их реализации. Все было проще, чем тысячекратно читалось в романах, живописующих убийственные схватки двух враждебных натур в одном теле, и по одному тому, что было проще, становилось непосильно сложней. Наверно, я говорю непонятно. Непонятность не в словах, а в фактах, какие надо высказать словами.

Итак, я не люблю себя — таков первый важный факт. И прежде всего не люблю своего облика. Природа наделила меня неудачной внешностью. Еще в детстве я возненавидел зеркала. В зеркале, когда я подходил к нему, появлялась нескладная фигура: с непомерно широких плеч свисали неприлично короткие, хотя и крепкие руки, на узкой и длинной шее торчала массивная голова — я всегда удивлялся, почему шея не сгибается под ее тяжестью, — а к несимметричному телу еще и несимметричное лицо... «Ты мог бы сойти за инопланетянина-антропоида, если бы мы не знали, что антропоидов в иных мирах не существует! — сказала мне как-то Анна и добавила с нежностью, ей почему-то нравилось мое уродство: — Вот же судьба — столько красивых парней увивалось вокруг меня, а влюбилась в тебя».

И я не любил своих поступков — такой второй важный факт. Нет, не потому их не любил, что делал, чего не желалось. Этого не было да и не могло быть. Я делал только то, что надо было и что хотелось. Но делал хуже, чем хотелось. Есть люди, достигшие совершенства, образцом их был мой учитель Теодор-Михаил Раздорин, у таких людей цель и выполнение цели всегда совпадают, одно отвечает другому. Меня одолевала неудовлетворенность: цели были выше выполнения. Я не жалуюсь и не скорблю — констатирую печальный факт.

В моих действиях на Ниобее оба эти свойства — нелюбовь к своей внешности и несовпадение цели и средств — присутствовали в реальном действии. Если бы было не так, я и не упоминал бы о своем характере, на такую деликатность меня бы хватило.

На Ниобею меня направил Теодор Раздорин.

Я пришел к нему вскоре по возвращении с Эриннии. Мне полагался годовой отдых на Земле. Я заранее сокрушался, что года на отдых не хватит. И уж конечно, ни о каких дальних экспедициях мне не мечталось: я был сыт по горло хлопотней на неустроенных планетах. Ничегонеделание на зеленой Земле было сладостней любых успехов на разных небесных шариках. Так мне воображалось. И естественно — теперь сознаю, что в том была естественность, а не принуждение, — не прошло и месяца, как я снова мчался к звездам.

Это произошло потому, что Теодор Раздорин умирал.

Он лежал в своей спальне на широкой постели, иссиня-бледный и до того исхудавший, что набухшие вены на руках и жилы на шее казались жгутами, приставленными снаружи, а не выступающими из-под кожи. Возле кровати возвышались аппараты для кровообращения и дыхания, собственные органы Раздорина давно перестали служить исправно. В открытое окно врывались запахи деревьев и распускающихся цветов, на дворе творилась очередная яркая и многошумная весна. Я потом часто думал: хорошо умирать весной, ощущая тепло солнца и дыхание возрождающейся травы. Именно так, по-своему радостно и красиво, совершалось это скорбное событие — уход моего учителя в небытие. Для себя я желаю такой же смерти.

Обессиленный телесно, сознание Раздорин сохранял до последнего часа. И хоть голос его, прежде громкий и категоричный, звучал уже не так сильно, но был по-прежнему ясен и решителен. Старик с трудом шевелился на своей необъятной кровати — он любил такие, как сам он посмеивался, «стадиончики для спанья», — но разговаривал без большого усилия, и это, видимо, скрашивало ему тяготы хвори: он всегда охотно говорил и у него всегда было о чем говорить.

Раздорин глазами показал на стул рядом с кроватью и сказал:

— Садись. Знаю. Вижу. Перестрадал. Возродился.

— Десять лет все-таки, — сказал я. — Даже самого горького горя на десять лет не хватит. Все стирается.

— Не клевещи на себя. Ты не из забывчивых. Знаю твою любовь к Анне. Годы не сотрут такого несчастья. Да и не было у тебя десяти лет на горе. Даже года не было.

Я лучше, чем кто-либо — все же любимый его ученик, — знал, как он любит поражать парадоксами. В древности из него вышел бы незаурядный софист. Но этого парадокса я не понял. Он усмехнулся.

— А ведь просто, Василий. Тебя спас твой труд. Та великая цель, какую ты себе наметил. Не то что года, даже месяца на уход в несчастье ты не имел. Раньше о пророках говорили: он смертью смерть попрал. Ты попрал смерть жизнью. Эринния теперь никому не грозит таинственной гибелью. Это подвиг, Василий.

— Это работа, — сказал я. — И не только моя. Всех нас, и гораздо больше биологов и медиков, а не социологов. Я организовывал их труд, только всего.

— Твоя, — повторил он и нахмурился. Слова давались ему легче, чем даже легкое движение бровями или рукой. А он, как и встарь, отстаивал любое свое утверждение — не затыкал рта инакомыслящим, но требовал, чтобы против него подыскивали только солидные возражения. — Ты не вносил предложения о переименовании планетки? Эринния, богиня мщения, теперь ей не к лицу.

— Не вносил и не внесу. Пусть остается Эриннией. Название звучное. И лицо у планетки все еще мрачноватое.

— Тебя не переспорить, ты всегда был упрямый, сказал он с удовлетворением. Ему нравилось, когда его убедительно опровергали. В моем упрямстве он ощущал обоснованность — во всяком случае, я старался, чтобы было так. Помолчав, он спросил: — А теперь куда?

— Никуда. Отдыхаю.

— И долго намерен?

— Весь положенный по закону отпуск. Не меньше года.

— Осатанеешь от безделья. Буду тебя спасать. Бери командировку на Ниобею. Я походатайствую. Туда не всякого пошлют, а тебе разрешат.

И раньше встречи с Раздориным не проходили гладко. Он поражал не только оригинальными суждениями, но еще больше экстравагантными поступками. И, отправляясь к нему, больному, я говорил себе, что если свидание будет с неожиданностями — словесными и деловыми, — то болезнь не так уж и грозна, выкарабкается. Болезнь была, из какой не выкарабкиваются, а в неожиданности он ввергал по-прежнему. Я встал на дыбы, с хладнокровием и вежливостью, конечно.

— А какого мне шута в Ниобее, учитель?

— На Ниобее не до шутовства, ты прав. Очень серьезное местечко. Завтра поехать не сумеешь, а через недельку лети.

— Ни завтра, ни через недельку, ни вообще...

— Никаких вообще! А в частности и в особенности — ты! Никто другой — это в частности, и лучше всех — в особенности. Я правильно истолковал тебя?

Я расхохотался. Вероятно, это было не очень корректно — хохотать у кровати умирающего. Корректность не принадлежала к числу достоинств, чтимых Раздориным. Он улыбался одними глазами. Он был уверен, что переубедит меня. И почему-то ему было нужно, чтобы на Ниобею летел я, а не другой.

— Такое впечатление, учитель, что Ниобея вас задевает больше всех ныне осваиваемых...

Он прервал меня:

— Больше! Интересуешься, почему? Подтверждает мою теорию затухания. Так подтверждает, что лучших доказательств и не желать. Ты помнишь эту теорию?

Еще бы не помнить ее! В свое время она породила много шума. Именно шума, а не споров. О ней не дискутировали, о ней только говорили — кто с улыбкой, кто с раздражением. Один из уважаемых социологов, Иван Домрачев — да, тот самый, что математически рассчитал пределы прогресса у популяций, живущих одним инстинктом, и безграничность совершенствования обществ, использующих потенции разума, — поставил своему личному компьютеру, названному человеческим именем «Сеня Малый», задачу найти теорию развития, во всех отношениях и со всех сторон максимально удаленную от канонов науки. И «Сеня Малый», рассчитав ее самостоятельно, выдал точную концепцию Раздорина. Оба были страшно довольны: социолог и академик Иван Домрачев — что доказал полную ненаучность теории Раздорина; а астросоциолог и астроадминистратор Теодор Раздорин — что ему удалось создать такую во всех отношениях ненаучную науку.

Что до меня, то я никогда не считал теорию затухания столь уж несовместимой с наукой. В ней было много здравых идей — во всяком случае, там, где Раздорин не стремился блеснуть оригинальностью. Суть ее, в общем, сводилась к тому, что организованное общество чаще всего гибнет от благосостояния. Жирок душит тело и иссушает душу — явление, замеченное уже давно. Чрезмерное довольство порождает склероз, склероз поражает инфарктами — эту узкую медицинскую истину Раздорин распространил на любое общество и объявил социально-космическим законом. И до него совершались попытки отождествить процессы, происходящие в организме, с общественными процессами, особенной оригинальности он, по-моему, здесь не продемонстрировал. Правда, Раздорин добавлял, что величина губительного жирка у разных обществ различна — одних отравляет и малое благосостояние, другие выдерживают и роскошь.

Расширив свою горестную философию на человеческое общество, Раздорин с азартом доказывал, что развитие техники привело к такому благосостоянию, что люди разленились. Кое-где создали строй, названный «обществом потребления», а потребление сверх реальной нужды вызвало накопление не только телесной, но и интеллектуальной вялости, потерю динамизма, притупление духовных интересов. Общество потребления ожидала неизбежная деградация. И лишь выход в безграничный космос спас людей от предсказываемого для них Раздориным печального финала. Пока вся Галактика не освоена человечеством, вещал Раздорин, и динамизма хватит, и совершенствование будет все совершенствоваться — он именно так косноязычно и высказывался. Галактика, говорил он, область для приложения сил достаточно просторная, на миллион лет хватит, а дальше не будем загадывать.

Вот такая была у него любопытная теория. И надо сказать, что в своей практической деятельности астроадминистратора он блестяще осуществлял этот провозглашенный им космический динамизм. История освоения внесолнечных планет немыслима без частого упоминания имени Теодора-Михаила Раздорина.

Все эти мысли возникали и толклись в моей голове, когда я, сидя у постели, слушал его рассказ о Ниобее. Я плохо знал эту планетку в системе Гармодия и Аристогитона, двух светил из породы красных гигантов. Разумеется, я видел ее стереографии — красивая, но своеобразной красотой: чудовищные вулканы, фонтаны пламени и камней, непрерывно исторгаемых недрами, и роскошная растительность. Ниобейским цветам и деревьям могли бы позавидовать самые прекрасные парки Земли; зверей и рыб практически нет; птицы редки. В общем, содружество ада с раем — так охарактеризовал Ниобею сам Раздорин после первого посещения. И в отличие от его социологических концепций, эту оценку никто не опровергал.

А населяют Ниобею нибы — немногочисленное сообщество гуманоидов, до того похожих на людей, что их можно было бы счесть за одно из первобытных человеческих племен. О машинах нибы понятия не имеют, орудия используют самые примитивные, жалкое существование наполнено единственной заботой — выжить. Первооткрыватели обнаружили у этого примитивного народа и страшный обычай каннибализма — нибы поедают один другого. Вместе с тем на Ниобее найдены и поразительные памятники древней цивилизации — роскошные дворцы, величественные скульптуры, яркие картины. Изучение памятников продолжается, но уже ясно, что нынешние нибы так же далеки от того древнего искусства, как питекантропы от творцов Парфенона. Естественный вывод: на Ниобее некогда существовала развитая цивилизация, ее представители вымерли или переселились на другие планеты, а свою прародину оставили современным пещерным нибам.

Таковы были мои знания о планете, куда меня задумал командировать Раздорин. А он все тем же ясным голосом, столь странным у тяжелобольного, пункт за пунктом, факт за фактом опровергал мои нетвердые знания.

— Вздор, Василий, — переселились на другие планеты! Во-первых, на какие? В окрестностях Гармодия с Аристогитоном и следов такого переселения не найти. Во-вторых, как? И намека на машинную цивилизацию на Ниобее не было. Откуда же взять звездолеты? Те древние поселенцы, творцы дворцов и картин, и современные дикари — один народ, но на разной стадии развития.

— На разной стадии деградации, стало быть?

— Развития, Василий! Нет, до чего в ваши головы вбита идея автоматического прогресса! Вот же живучее заблуждение! А ведь и появилось недавно, два-три века назад. А до того понимали, что развитие может вести вверх, но может и вниз. Его может и вовсе не быть. Слышал об Экклезиасте? Умный был человек, хотя его, возможно, вовсе и не было. Так он твердил со скорбью: «Нет ничего нового под солнцем, и вечно возвращается ветер на круги своя».

— Экклезиаста читал и сдавал в курсе истории...

— Вот-вот, сдавал и все сдал, ничего себе не оставив. Теперь припоминать... Долго крутился ветер на ниобейских своих кругах и ослабел. Уверен, хороший поиск показал бы не только прежнюю роскошь и современную нищету, но и закономерное падение от роскоши до нищеты. Деградация как естественный процесс. Только никто этим не занимался. И тебе поставлю другое задание.

— Повернуть общество нибов к прежнему благоденствию? Превратить деградацию в прогресс?

— Напрасно смеешься! Нет, я не о прогрессе, это тебе не под силу. Остановить падение. Они на краю. Вот-вот сверзятся в пропасть.

— На Ниобее, я слышал, работают геологи, промышленные партии. Соседство с могущественной цивилизацией благотворно для отсталых народов.

— Когда благотворно, а когда губительно. Примеров в истории Земли хватает. Беда Ниобеи в чем? Сказочно богата! Руды стабильных сверхтяжелых элементов! На Земле их синтезируют микрограммами, а на Ниобее — миллионы тонн. Освоение ниобейских недр вызовет чуть ли не переворот в земной технологии, общее мнение. Короче, не до аборигенов. А ты разберись, Василий. Полети и разберись. Другим бы такого дела не доверил. Тебе могу.

На какую-то минуту я отвлекся и перестал слушать. Все во мне протестовало против новой командировки. Мне надо было отойти от космоса. Я был по горло сыт Эриннией, вряд ли Ниобея лучше. Но я сдержал рвущийся из груди отказ, не хотелось резким отпором огорчать старика. Я промолчал и снова стал прислушиваться. Раздорин уже не уговаривал, а давал деловые наставления:

— ...значит, Барнхауз. Этого бойся. Знаю, знаю, ты не из трусливых. Но все же бойся, не трусливо, а разумно, квалифицированно опасайся. Запомни: он из рода бизнесменов. Дед — основатель компании «Унион-Космос», отец в первых разведчиках на Ниобее, сын пошел в отца, но стремится превзойти всех предков. Рост и фигура — средней руки медведь, столь же лохмат и сто лошадиных сил в каждой руке! О деде говорили: пьет с друзьями и тут же ими закусывает. Внук чем или кем закусывает, не знаю, но допускаю наследственность. Совесть у него безразмерная, так мне всегда казалось. Перед отлетом посмотри его официальные отчеты: сложные произведения, в каждом сказано и то, чего в нем не написано, надо вчитываться. И говорит в такой же манере — сплошными подтекстами. Содействия у него требуй, но настораживайся, если протянет руку непрошеной помощи. В общем, неоднозначен. Векторным исчислением его не определить, он многонаправлен, тут нужны тензоры. Впрочем, и ты не лыком шит. Учти, он о тебе знает гораздо больше, чем ты о нем, ты сегодня — полнометражная фигура, а он для Земли пока что лишь эскиз растущего руководителя. Это у вас скажется.

— Много вы наговорили о нем, — сказал я со смехом.

— Мало. Он заслуживает большего. Добавлю: умеет быть выгодным всем. Довел свою полезность до искусства. На Земле его ценят и в Академии наук, и в промышленных министерствах — и за дело ценят, он того стоит. Теперь о его главном помощнике Джозефе Виккерсе. Из моих учеников, но не моей школы. Все у нас были преданные. Он не столько преданный, сколько предающий, таким мне он виделся еще в университете. И предал — пошел к Барнхаузу, не прощу этого! Их взаимоотношения, Барнхауза и Виккерса, — черт едет на дьяволе. Остальное — несущественно.

— Джозеф Виккерс, вы сказали? Не помню такого на курсе.

— Не можешь помнить. Он лет на двадцать моложе тебя. Теперь уходи. Я устал. Готовься к отлету.

— Завтра приду. А насчет отлета — еще не решил.

— Полетишь. Сколько просить — уходи!

Он закрыл глаза, голос вдруг иссяк. Я с нежностью смотрел на его похудевшее, измученное лицо. Он всегда был красив, мой учитель, красив не внешней гармонией линий и красок лица, а каким-то особым светом, излучаемым всем его существом. Тихо, чтобы даже легким шумом шага не побеспокоить его, я удалился из палаты.

На другой день я пришел в больницу, чтобы объявить твердое решение: никуда не еду. И — для смягчения отказа — пообещать быть с ним, пока он болен. Я знал, что мое присутствие для него так же приятно и нужно, как его для меня.

Но говорить было не с кем. Знаменитый астронавт Теодор-Михаил Раздорин ночью скончался. Врач, с сочувствием глядя на меня, сказал:

— Умерший вспоминал вас. Просил передать, что уверен в вас. Не знаю, как толковать эти слова.

— Зато я хорошо знаю, — ответил я и ушел.

Все было предельно ясно. Надо лететь на Ниобею.

4

Звездолет «Австралия» доставил меня на Галактическую Базу в той же системе двойной звезды Гармодня и Аристогитона, к которой принадлежала Ниобея. Только Ниобея была внутренней планетой системы, а База расположилась на внешней, Платее, унылом каменистом шарике, вряд ли много крупней земной Луны. Здесь всего не хватало — света, тепла, гравитации, зелени, воды, — в общем, местечко не для отдыха. Зато работы было на всех с избытком, это я уже знал из отчетов Барнхауза.

Галактическая База на Платее с момента своего основания являлась собственностью Объединенного правительства, но возводила его по заказу государства компания «Унион-Космос». Наставления Раздорина заставляли подозревать, что всем известные традиции этой компании далеко еще не выведены на Платее. И я бы жестоко солгал, сказав, что жду первого свидания с Питером-Клодом Барнхаузом, потомком жестоких и умелых дельцов, а ныне главным администратором Галактической Базы, с безмятежным спокойствием. Я немного волновался, так это было.

Управление Базы размещалось в многоэтажном здании неподалеку от ремонтных звездолетных заводов. В приемной Барнхауза меня встретила женщина лет под тридцать, его секретарь Агнесса Плавицкая. О ней мне на Земле по секрету сказали: «Ведьма, каких на Брокене и на Лысой горе поискать. В бабы-яги по возрасту пока не вышла, но к помелу присматривается загодя». Если длинноногая, салатноглазая, быстрая блондинка и была ведьмой, то незаурядно красивой ведьмой. И по этой одной причине, не только по возрасту, она и не могла быть бабой-ягой, на эту важную должность, я слышал, вербуют уродливых и безобразных — это их профессиональное отличие. Меня прекрасная Агнесса возненавидела, вероятно, еще до личного знакомства, а с первым взглядом ненависть укрепилась. Я тоже не испытал симпатии к изящному секретарю Барнхауза.

— Знаю. Вы астросоциолог Василий Штилике, — установила она, не дожидаясь, пока я назову себя, — Приехали контролировать нашу работу. Мы вас ждали. Посидите в приемной.

— А почему? — спросил я. — Мне бы хотелось пройти сразу к Питеру Барнхаузу. Он сейчас так занят, что не может меня принять?

— Питер-Клод Барнхауз всегда занят, — отчеканила она. — Но сейчас его нет. Он на заводе, подготавливающем два планетолета к полету. Один из планетолетов предназначен для вас. Питер-Клод просит прощения, что опоздает.

Я присел. Она нахмурилась, давая понять, что я разглядываю ее слишком бесцеремонно. Я не просто разглядывал, а изучал ее. Она была ясна, как раскрытая страница книги. Даже на Земле в праздники не наряжались так тщательно и умело, как эта женщина на далекой, сугубо рабочей планетке. И, вдумываясь в ее лицо — подкрашенные сжатые губы, холодный взгляд, тихо позвякивающие при каждом движении сережки-колокольчики, — я безошибочно чувствовал, что эта женщина совершенно лишена даже инстинктивного кокетства, она не завлекала нарядом и отработанной изящностью, а лишь подчеркивала ими какую-то особую, высшую свою значительность. Кто бы ни был Питер-Клод Барнхауз, думал я, и ему непросто общаться с такой, по всему, непростой помощницей.

Я переоценил ее умение владеть собой. Она резко обернулась ко мне.

— Что вы так вперились в меня, Василий? Пугаю?

— Немножко есть, — честно признался я. — Но не это главное. Любуюсь.

— Не советую, — холодно отпарировала она. — Неинтересно и бесцельно. Я слыхала, что женщины вам столь неприятны, что ни одну не допускаете в свои экспедиции.

— Не всякому слуху верьте, Агнесса. Одну допустил, это была моя жена. С тех пор, правда, стараюсь работать только с мужчинами — не на Земле, естественно. А любовался я не вами, я бы на это не осмелился, а вашими золотыми сережками. Никогда не видал таких.

Она сняла одну из сережек и протянула мне.

— Теперь можете любоваться. Подарок моего бывшего мужа Жана Матье. Надеюсь, это имя что-то говорит вам, Василий-Альберт?

Я не знаток искусства, но имя лучшего художника нашего времени было ведомо и мне, я не раз знакомился с его картинами на выставках и в музеях. Правда, я не знал, что Матье не только живописец, но и ювелир. Сережка была необычайна: два золотых колокольчика вставлены один в другой; меньший, с крохотным язычком внутри, сам служил ударником для большего колокольчика. Я покачал сережку. Оба колокольчика породили нежный, мелодичный звук — чей-то приглушенный голосок печалился и тихо взывал.

— Понял, — сказал я, возвращая сережку. — Покинутый вами муж оставил вам на память свой голос, вечно оплакивающий расставание.

— Не поняли, — возразила она, прикрепляя сережку к мочке уха. — Не я его покинула, а он меня. И поиздевался на прощание: «Пусть голос сережки оплакивает твою потерю, ибо никогда ты не найдешь человека, равного мне. Не сумела оценить, теперь казнись».

— Он не страдал, по-видимому, самоуничижением?

— Все мужчины хвастливы. Гении, вроде Жана, особенно. А я ношу эти сережки, чтобы они всегда звенели мне в ухо: «Ты свободна, ты свободна, ты наконец восхитительно свободна!» Я слышу шаги Питера-Клода, господин Штилике.

Я тоже услышал чьи-то шаги в коридоре. Они усиливались, приближаясь, ноги не скользили, а тяжко били по паркету. Барнхауз не просто передвигался, как все люди, а извещал о себе громкими, как тревожный сигнал, шагами. Затем двери распахнулись, и возник он сам. Не появился, не вошел, не проскользнул, а возник, замер — огромный, лохматый, длиннорукий — в проеме двери, как в раме, давая наглядеться на свою фигуру и на широкое, краснощекое, распахнутое в улыбке лицо. А голос был неожиданно для мощного роста тонковат и скрипуч. Впоследствии, в минуты гнева, охватывавшего Барнхауза, я слышал в его голосе такие режущие ноты, такие визги, как будто он не говорил, а пилил дрова голосом, ставшим подобием быстро вращающейся, но плохо смазанной пилы.

— Похож! — возгласил он на пороге. — Нет, до чего похож! Коллега Штилике, хочу, но не умею выразить, как рад вас видеть!

Я пожал его руку — он надавил с нарочитой силой — и поинтересовался:

— На кого я похож, Барнхауз?

— Как на кого? На себя, разумеется. На свои собственные портреты, Штилике. Вон в моем кабинете два ваших стереообраза, войдите и полюбуйтесь.

Все стены обширного кабинета Барнхауза были увешаны стереографиями, картинами и схемами. Среди этой бездны изображений я не скоро нашел бы себя, но Барнхауз показал, где искать. Вряд ли я теперь походил на те давние изображения. Барнхауз предложил мне сесть на диван и уселся в кресло, придвинув его к дивану.

— Рад, очень рад вашему прилету, Штилике! — повторил он. — Меня предупреждали о вас — огромные полномочия и прочее. Уверен, что теперь программа промышленного освоения Ниобеи получит новое ускорение. Люди вашего ранга прибывают не для лицезрения и прогулок, а для поворотов и переворотов, это мы понимаем.

— Для начала ограничусь лицезрением и прогулками, — ответил я, — Хочу поближе познакомиться с Ниобеей и ее обитателями.

Барнхауз нарочито высоко приподнял лохматые брови.

— С геологами и горняками? Люди как люди, ничего выдающегося. Или вас интересуют местные людоеды?

— Нибоеды, Барнхауз, — вежливо поправил я. — Именно они. Сколько слышал на Земле, нибы людей не едят.

Он пренебрежительно фыркнул.

— Много знают на Земле о наших делах. Даже мои краткие отчеты не прочитываются, а просматриваются. Только требования на материалы досконально изучаются, чтобы обнаружить предлог ужать или отказать в запросах. Нет, дорогой Штилике, нибы не едят людей не от отсутствия аппетита. Просто никто из нас не ходит там без оружия и в одиночку. Наше строжайшее правило: не отражать нападение, а не допускать самой возможности напасть на нас. Действует безотказно.

— Неплохое правило! Не хотите ли ознакомиться с моими служебными документами?

Барнхауз хорошо владел собой, но по одному тому, что каждую строчку моего командировочного предписания он перечитывал дважды и трижды, я понимал, как он поражен, если не сказать — ошарашен.

— Сильные бумаги, — сказал он, возвращая документы. — Правда, не совсем то, на что я надеялся... И скорей, даже совсем не то...

Я имел опыт общения с людьми типа Питера-Клода Барнхауза. Они встречались мне не только на Ниобее.

— Будете возражать, Барнхауз? В случае несогласия соблаговолите начертать мотивированный отказ. Вы правитель этого уголка мира, и без вашего разрешения я тут не сумею ступить и шага.

Барнхауз все же был не из тех, кого берут голыми руками. Он ухмыльнулся мне прямо в лицо. И ухмылялся, и смеялся он очень по-своему — не такой уж большой рот внезапно расширялся, распахивался, разбегался по щекам до ушей, и разверзалась краснонебая пропасть. Детей даже дружелюбные его улыбки должны были пугать.

— Не рисуйте меня дурачком, Штилике. Я правитель, пока прав. В смысле — пока мои действия признаются правильными. Я не поклонник табели о рангах, но понимаю: вы — это вы, я — это я. Шагайте без разрешения, куда поведут вас ноги. И передайте Объединенному правительству Земли, что мятежника во мне никогда не увидят.

— Я понимаю вас в том смысле...

— Именно в том, вы не ошиблись... Я отправлю вас на Ниобею с первым же планетолетом. Кстати, он уже подготовлен. Я снабжу вас всеми данными об этой планетке. Информация будет исчерпывающей, можете мне поверить. Сейчас я познакомлю вас с нашим космоэкспертом Джозефом-Генри Виккерсом, он недавно вернулся с Ниобеи.

Он встал и подошел к столу. На рабочем пульте светили два десятка разноцветных кнопок. Барнхауз нажал одну из них, и спустя минуту в кабинете появился космоэксперт. Поглядев на Джозефа-Генри Виккерса, я почувствовал, что в моей жизни произошло важное событие. Теодор Раздорин слишком мало успел сказать мне о нем. Я и понятия не имел, чем для меня обернется знакомство с Джозефом, но сразу и безошибочно понял, что наши жизненные пути, мой и этого человека, драматически пересеклись. И пусть мне не говорят, что такое понимание возникло позже, — дескать, я экстраполирую на прошлое то, что осозналось лишь впоследствии. Я не знал своего будущего, не догадывался, какое страшное будущее — с моей помощью — уготовано Джозефу Виккерсу, но меня охватило смятение, едва он вошел, и это свое чувство я помню. Я залюбовался Виккерсом. Он был незаурядно красив. Он был из тех, кто покоряет одной своей внешностью. Высокий, статный, темноволосый, темноглазый, образец гармоничности роста и веса, ума и красоты — таким он предстал мне. И если в нем что-то и отвращало, то лишь временами вспыхивающие иронией глаза и кривоватая улыбка, в ней чудилось высокомерие, этой улыбкой он не соединялся с собеседником, как то обычно у людей, ибо нормальная улыбка равновелика дружескому слову или рукопожатию, нет, он отстранялся, улыбаясь, он указывал улыбкой дистанцию между собой и другими. Позже я узнал, что у него имеются и другие способы отстранения, вплоть до открытого пренебрежения, всегда нарочитого и потому особо оскорбительного.

— Джо, мой мальчик, — прорезал воздух острым голоском Питер Барнхауз. — Уполномоченный с Земли, знаменитый астросоциолог Штилике, решил осчастливить нашу планету очередным благотворительным декретом правительства. В общем, требуют срочно перемонтировать чертей в ангелов. Нужна ваша помощь, Джо.

Джозеф Виккерс поклонился мне, но руки не подал, и я вовремя удержал свою. Он глядел на меня с любопытством, как на диковинное животное. Он засмеялся — достаточно вежливо, чтобы не обидеть, и достаточно иронично, чтобы заранее показать свое отношение ко всем видам благотворительности. Так я его понял тогда, так это и было реально.

— Мне кажется, я мало гожусь для психомонтажных работ, — сказал он. И голос его покорял — мелодичный, медленный баритон звучал ясно и полновесно.

— Джо, мой мальчик, вы не способны смонтировать душу ангела в теле черта, вполне с вами согласен, — острым голосом резал свое Барнхауз. — Но вы же крупнейший знаток Ниобеи. Так вот, докажите, что переконструкция ниба в человека неосуществима. Сообщите об исследованиях в своей лаборатории. Пусть говорят за себя сами, вы меня поняли, дорогой Джо?

— Ознакомить доктора Штилике с результатами наших работ я могу, — сказал Виккерс сухо и наклонил голову. — Сегодня вечером, если не возражаете.

Я не возражал. Барнхауз встал, показывая, что деловые разговоры закончены. Для человека, утверждавшего, что ставит меня гораздо выше себя, он мог бы держаться и не столь начальственно. Ошибки подобного рода он впоследствии делал часто, Раздорин все же переоценил его дипломатическую изворотливость. Впрочем, Барнхауз сразу понял, что со мной надо обороняться, а не переводить меня в свою веру. Не поднимаясь с дивана, я обратился к Виккерсу:

— Знаете ли, что наш с вами учитель Теодор Раздорин скончался? За день до смерти мы с ним говорили о Ниобее, и он вспоминал вас, Джозеф.

В нарочито спокойном лице Виккерса что-то изменилось. Мне показалось, что он смутился. И он не сразу ответил.

— О смерти Раздорина мы знаем, — сказал он, — Большая потеря для науки, а для Ниобеи особенно. Он так много сделал для нее.

— Он говорил о вас перед смертью, — повторил я.

Виккерс понял, на что я намекаю, и принял вызов.

— Естественно, раз разговор ваш шел о Ниобее, а я тут. И конечно, осуждал меня. Он уверовал, что я отступаю от его учения. Однажды он крикнул мне: «Вы предатель нашей школы!» Надеюсь, он говорил вам что-то в этом же духе?

— Почему — надеетесь? — ответил я вопросом на вопрос. — Надежда на то, что вас будут осуждать, — не слишком ли вычурно сказано?

— Зато точно и правдиво, доктор Штилике. В жизни каждого из учеников Раздорина его личность сыграла поистине огромную роль. Он воспламенял наши души, был великим катализатором наших талантов. Уверен, что такую оценку не сочтете ни преувеличенной, ни чрезмерно вычурной. Но видите ли, доктор Штилике, мы его ученики, ушли от него по разным дорогам. Одни продолжают его путь, спрямляют и заливают асфальтом проложенные им кривые тропки, другие свернули с них, чтобы найти свой проход в чащобах неизученного. Первых Раздорин восхвалял, вторых осуждал как предателей.

— Можете гордиться: вас он осуждал, Виккерс. Меня восхвалял: я шагаю по его дороге. Вполне по вашей росписи. Я радуюсь его хвале, вы — его порицанию.

Я поднялся с дивана. Во время нашего разговора с Виккерсом мы с ним сидели, а Барнхауз стоял, переводя взгляд с одного на другого и как бы молчаливо призывая нас закругляться. Я не злобив и не мстителен, но намеренно затягивал разговор, выдерживая Барнхауза в нелепой позе церемонно стоящего между двух сидящих. В другой раз он сообразит, что беседу, начатую мной, буду оканчивать я, а не он.

Барнхауз понял урок. Ни разу потом он не позволял себе забываться. Он оставался правителем в этом уголке мира, но при мне удерживался от застарелой привычки начальствовать.

Виккерс с Барнхаузом остались в его кабинете, я вышел. В приемной Агнесса так взглянула на меня, что я сразу понял: подслушивала наш разговор в кабинете. Тогда это было только догадкой, теперь я точно знаю: у нее имелся аппарат, разрешенный Барнхаузом, она могла даже не подслушивать, просто слушать, что совершается за стенкой, а он потом с охотой выспрашивал ее суждения по поводу услышанного.

И в отличие от своего шефа, она не считала нужным экранировать свои чувства внешней учтивостью. Сколько я ни придумываю характеристик для тона, каким она заговорила со мной, я не нахожу ничего более точного, чем «ненавидящий голос».

— У вас, конечно, будут распоряжения, господин Штилике, — сказала она этим ненавидящим голосом. — Вы на Земле привыкли к таким удобствам, к такому обслуживанию... Высказывайте, пожалуйста, пожелания.

Ее золотые сережки-колокольчики мелодично позвякивали в ушах, отчеркивая каждое слово. Мне захотелось поставить эту красивую женщину на единственное подходящее ей место, чтобы она знала, что я не сомневаюсь в ее истинном отношении ко мне.

— Понимаю, милая Агнесса, — сказал я, — Вы хотите услышать мои желания, чтобы потом с тихой радостью объявить мне, что на Ниобее они неосуществимы.

— Почему же с тихой? — возразила она. — Я привыкла разговаривать громко. И разве я милая? Обо мне по-разному судачат, но милой — нет, так никогда не называют!

— Значит, немилая? Согласен и на это. Так вот, немилая Агнесса, у меня нет никаких пожеланий. И впредь не будет. Хотел бы, чтобы это вас устроило.

— Трудно с вами, господин Штилике, — сказала она, вспыхнув.

— Все мы народ нелегкий, — сказал я.

Сейчас я понимаю, что можно было взять не такой резкий тон. Хоть я не любил работать с женщинами на далеких планетах, все же грубость в обращении с ними мне не свойственна. Агнесса открыто не вызывала меня на грубость, для этого она достаточно воспитана. Я отвечал грубостью на ее внутреннюю недоброжелательность, а не на невежливость. Возможно, я держался плохо, но что было, то было. Я поклонился, она не ответила на поклон.

Возвращаясь в гостиницу, я почему-то думал не о Барнхаузе и не о Виккерсе, а об Агнессе. Я говорил себе с усмешкой: «Бывает любовь с первого взгляда, а у нас с ней ненависть с первого взгляда, не странно ли?» Теперь я не вижу в этом никакой странности. Даже больше — утверждаю, что мгновенно возникшая ненависть встречается чаще, чем мгновенно возникшая любовь. Любовь все же чувство юное, с годами возможность новой любви ослабевает, любовь с первого взгляда обычна у двадцатилетних и чрезвычайно редка у пятидесятилетних. А ненависть, вообще недоброжелательность и несовместимость не знают возрастных ограничений, старик способен на такое же острое чувство вражды, как и юнец.

И еще я думал о том, что на Платее за один день я узнал три формы обращения: Агнесса называла меня «господином», Барнхауз «коллегой», Виккерс «доктором». На Земле давно отвыкли от «господ», там все сильней внедряется радушное обращение «друг». До Платеи оно, по всему, не дошло. Традиции «Унион-Космос» здесь еще живы, как и остерегал меня Раздорин.

Вечером мне принесли в гостиницу с десяток папок: стереоленты, записи, доклады, отчеты. Работники Барнхауза основательно полазили по Ниобее, от их пытливого взгляда мало что укрылось. Мне трудно описать чувства, вызванные этими отчетами и докладами. Восхищение красотой планеты сменялось ужасом от неистовства стихий в ее недрах. Сострадание к жалкому народу, деградировавшему из величия к ничтожеству, превращалось в отвращение от средств, какими нибы поддерживали свое существование.

Было одно важное обстоятельство, породившее во мне тревогу, чуть ли не уныние, естественный вопрос: почему нибы, будучи еще в состоянии цивилизованном, ввели каннибализм? Ответ, казалось, лежал на поверхности: в растительной пище не хватает белка, зверей почти нет, птицы почти неуловимы, стало быть, поедание сородичей, особенно стариков, и так близящихся к могиле, гарантирует продолжение вида. Сперва ешь ты, потом тебя — нехитрая формула бытия, не правда ли? Но в таком случае существуют средства, отвращающие от нибоедения: естественные белки животных, привезенных с Земли и отловленных на Ниобее, разнообразные консервы, заполняющие трюмы звездолетов. Оказалось же, что и звери, и птицы Ниобеи, и консервированные белки с Земли действуют на нибов как яды: в мизерных количествах вызывают отравления, в объемах побольше приводят к гибели. Таких погибших от земного угощения нибов к моему прилету насчитывалось уже с десяток, и ни одного не удалось спасти.

Астрофизиологи — были и такие в лаборатории Виккерса — додумались, что в организмах нибов есть что-то, без чего они не могут существовать, и это «что-то» нигде, кроме как в теле у себе подобных, они получить не могут — витанибы, так их пожелал назвать сам Виккерс. Исследования тканей и крови нибов не выявили загадочный витаниб, даже представления нет о том, что это за вещество. А раз так, то нет и возможности ликвидировать нибоедение: уничтожение каннибализма равнозначно уничтожению самих нибов. Еще ни разу за время моих галактических рейсов я не встречал такого мрачного прогноза. Я перечитывал ужасный последний доклад Виккерса, пытался найти контраргументы — и не находил. Проблема была не из тех, для каких сразу отыскиваются верные решения.

Мне дали два дня на изучение материалов и раздумья, а на третий в моем номере появился Джозеф Виккерс. Он, естественно, заранее предупредил, что нанесет визит, он не был способен пренебречь обрядами благопристойности. И в то же время он мог, как я убедился вскоре, спокойно пристрелить вас при встрече, если вы встали поперек пути. Но и вытаскивая оружие, не преминул бы вежливо поздороваться: «Добрый день, очень рад вас видеть, готовьтесь к смерти!»

— Как вам понравились наши исследования, доктор Штилике?

— Временами испытывал омерзение!

Виккерс кивнул, довольный. Именно на такую реакцию он и рассчитывал.

— Поганый народец, доктор Штилике. Могу надеяться, что вы поддержите наши первоочередные мероприятия на Ниобее как полностью обоснованные?

— Но я не знаю, что вы планируете на Ниобее, Виккерс.

— Разве вас командировали не для ускорения промышленного освоения этой планетки?

Он не мог не знать, что я командирован вовсе не для этого. Барнхауз, конечно, информировал его о нашем разговоре. Я холодно внес ясность:

— Для контроля производимых здесь работ, а не для ускорения их. Для проверки того, насколько они соответствуют общекосмической программе Земли. Мне известно, что Ниобея фантастически богата ценными элементами. Превратить Ниобею в рудную базу космоса, такова долгосрочная перспектива, она остается. Но вы говорите не о долгосрочных планах, а о каких-то первоочередных мероприятиях, Виккерс.

— Первоочередные мероприятия вытекают из долгосрочных планов. Главное — изолировать нибов. Не перемонтировать чертей в ангелов, как выразился Барнхауз, это технически неосуществимо. Нет, просто оттеснить их подальше от наших промышленных разработок. А всего бы лучше забыть об их существовании, я высказываю в данном случае свое личное мнение, доктор Штилике.

Виккерс выкладывал все это неторопливо, благодушно, какими-то округленными звонами и мелодичными переливами бархатного баритона. Он наслаждался и тем, как музыкально красиво звучат его чудовищные предложения, а еще больше тем, что привел меня чуть ли не в трепет. У него блестели глаза. Я не дал ему радости увидеть свое негодование. Я спокойно осведомился:

— У вас имеются основания для такой... необычайной акции, коллега Виккерс?

— Имеются, доктор Штилике. Назову два основания. Первое: нибы препятствуют промышленному освоению планеты. Они еще мирились с появлением малочисленной группы исследователей. Но экскаваторы, бурильные станки, транспортеры приводят их в бешенство. Уже несколько агрегатов уничтожено. Один водитель грузовика спасся только тем, что бросил свою машину и удрал. Не обольщайтесь внешним добродушием этих дикарей. Они народ капризный, склонный к истерии, на них порой накатывает безумие. Знаете, чем объясняют нибы свою ненависть к машинам? Машины возмущают их эстетически! Вот такое словцо из сотен тысяч человеческих слов выбрал дешифратор для характеристики их машиноборчества. Что бы вы сказали о зверях, которые нападают на других зверей потому, что им не нравится окраска шерсти, или звук голоса, или запах кожи?

— Нибы не звери, а разумные существа.

— Нибы — звери, доктор Штилике. Звери с некоторыми зачатками или, точней, остатками разума. В общем, полоумный народец. Нужно ли церемониться с полоумными? Я напомню вам: когда наши предки осваивали Землю, им противодействовали звери и гады, и наши предки не нянчились со львами, тиграми, волками, змеями... Без истребления хищников человек и сам бы не выжил и не создал бы общечеловеческую цивилизацию из конгломерата дикарских племен.

— Мы сейчас жалеем, что человек переусердствовал в истреблении рыб и птиц, зверей и змей! Столько всего погибло!

— Я не предлагаю переусердствовать, доктор Штилике. Давайте разумно учтем не только положительный, но и отрицательный опыт наших предков. Поселим туземцев в охраняемых резервациях. Но основные пространства Ниобеи от нибов надо очистить. Без этого промышленное освоение планеты невыполнимо. Таково мое первое основание для программы изоляции нибов.

— Слушаю второе основание, Виккерс.

В его мелодичном голосе зазвучал металл:

— Второе в том, что эта популяция полуразумных существ сама осудила себя на вымирание. Ее внутренняя воспроизводительная сила стала меньше ее же внутренней силы уничтожения. Мы явились на Ниобею к последнему акту исторической трагедии ее народа. Сотни две лет без нашей помощи, еще сотню лет при нашем благотворительном воздействии — таков предел их дальнейшего существования. Так стоит ли искусственно продлевать их безнадежное бытие? Надеюсь, я вас убедил?

— Не надейтесь, — сказал я, — Мой мандат предписывает всюду изыскивать меры помощи внеземным цивилизациям, нуждающимся в благотворительности человека. Мандата на истребление инопланетных народов я не получал. Наши предки прошли с огнем и мечом по всем континентам Земли. Мы по-иному выходим в космос. Я сделаю все, чтобы не дать совершиться тем мероприятиям, которые вы называете первоочередными.

Виккерс усмехался высокомерной, отстраняющей улыбкой. Я еще не привык к ней, она меня раздражала. Я был готов наговорить ему грубостей из-за одной этой улыбки. Я понимал, что мы отныне враги. Он тоже понял это.

— Что же, доктор Штилике, перчатка брошена, так говорили в старину. Опустим боевые забрала. Уверен, впрочем, что ваши формальные права значительно превышают ваши реальные силы. Разрешите узнать, что вы намерены предпринять? Подразумеваю поступки, а не философские рассуждения.

— Барнхауз обещал отправить меня на Ниобею. Буду знакомиться с планетой и ее обитателями.

— В таком случае осмелюсь потревожить вас личным ходатайством. Моя жена, этнолог Ирина Миядзимо, просится на Ниобею. Ей разрешили сопровождать меня, но этого мало для посещения опасных планет. Ирина прибыла сюда от Токийского университета, марка университета — аргумент не из самых сильных. Возьмите ее в помощники или секретари. Барнхауз посчитается с вашим желанием больше, чем с моей просьбой.

Я смотрел на него во все глаза, так меня поразила просьба. Ибо это была не просьба, а вызов. Виккерс, конечно, знал, что в выработке правил, ограничивающих участие женщин в космических экспедициях, я принимал самое активное участие. Он ожидал отказа и наталкивал на отказ, чтобы иметь личную обиду на меня. Как показало будущее, я был и прав, и неправ. На отказ он надеялся, но вовсе не для того, чтобы лелеять обиду. Я слишком примитивно оценил его. И, подчиняясь этой ошибочной оценке, уверенный про себя, что не разрешу ей вылететь со мной, я решил сыграть в объективность.

— Хочу предварительно поговорить с вашей женой. Когда это можно сделать?

— Хоть сейчас, доктор Штилике. Ирина сидит в холле гостиницы.

Спустя минуту я пригласил Ирину Миядзимо в кресло. Мы с Джозефом Виккерсом сидели в таких же креслах, образуя равносторонний треугольник. Я спросил, чем могу служить Ирине и чем может послужить мне она. От меня она попросила ходатайства перед Барнхаузом, а мне пообещала помочь в изучении нибов. Она не просто этнолог, а космоэтнолог. Земные народности, этносы, она изучала лишь как учебный материал. В аспирантуре она специализировалась на инопланетных этносах. К сожалению, разумных цивилизаций в космосе мало, да и те уже изучены. Но этнос нибов для этнолога — кладезь открытий. Собственно, она и мужа заставила наняться на Ниобею, чтобы впоследствии присоединиться к нему. Она будет исполнительным сотрудником, какую я ни определю ей должность.

Ирина Миядзимо говорила долго и горячо, я слушал внимательно только первые минуты. Я всматривался в ее лицо, вслушивался в грудной, глуховатый, очень низкого тона голос, только у одной на тысячу встречаются такие голоса. И я любовался ею. Нет, она не была красива в обычном понимании красоты. В этом смысле ей было далеко до Агнессы Плавицкой. Даже рядом с красивым мужем она проигрывала: когда я переводил взгляд с него на нее, она казалась дурнушкой, возможно, и была такой. Это не имело значения — красива ли она, или только миловидна, или даже и этого маленького дара природы лишена. Ирина была больше, чем красива, она была прекрасна — той особой, той высшей прелестью, какую не выразить ни изяществом линий, ни гармонией форм, ни музыкой голоса. В ней ничто не выделялось, она была совершенна всем естеством. Мой дед, Иоганн-Фридрих Штилике, знаменитый в Баварии виноградарь, часто говорил мне о какой-то нашей соседке: «Василий-Альберт, она не богиня, нет, но в ней вечно женственное — эвиг вайблихе, и поверь мне, мальчик, это важней божественности». Что я тогда понимал в речениях деда? Его оценки были мне не по возрасту. Но я сразу понял, что именно о такой женщине говорил мой дед Иоганн Штилике, ибо в Ирине Миядзимо было то самое «эвиг вайблихе», то вечно женственное, что значительней любой красоты.

Мне исполнилось сорок девять лет к тому дню, когда Джозеф Виккерс вызвал ко мне свою жену. На Земле до встречи с Анной я много влюблялся, не теряя головы, расставался без раны в сердце. Обычной семьи я не создал даже с Анной, мы прожили почти десять лет, но детей у нас не было, нам попросту было не до детей. А после смерти Анны не помню, чтобы приглядывался хоть к одной женщине. Я был влюблен в космос, космические экспедиции были единственной страстью моей души, я не мог делить эту могучую страсть со скорогаснущими страстишками. Но если в мире и существовала женщина, способная породить во мне сильное чувство, то эту женщину звали Ирина Миядзимо. Я понял это еще до того, как она закончила свои просьбы. Но одновременно я помнил, что она жена такого же астронавта, как я, удивительно красивого человека и к тому же вдвое моложе меня, да еще моего принципиального врага, и что я не имею морального права стать соперником своего противника.

Я сделал знак, что Ирина может больше не продолжать.

— Я возьму вас с собой секретарем. Готовьтесь к отлету на Ниобею. Когда рейс, коллега Виккерс?

— Планетолет отбывает завтра, — сказал он слишком спокойно, чтобы это было реальным спокойствием.

Они ушли, а я задумался. Я удивлялся себе и не понимал себя. Что сказал бы мой резкий и категоричный учитель Теодор-Михаил Раздорин, если бы узнал о разговоре с Ириной? Наверно, сыронизировал бы что-то вроде: «Пришла, увидела и села на шею». Уж он-то не поверил бы, что я способен вот так, без сопротивления, покориться настояниям совершенно незнакомой мне женщины. Я был недоволен собой и тревожился за себя, мне все больше думалось, что я совершил плохой поступок и вряд ли легко выкарабкаюсь из создавшейся скверной ситуации.

— Ты влюбился с первого взгляда, дружок, — сказал я себе вслух. — Два важных сегодня события — и оба с первого взгляда. Ненависть к Агнессе, любовь к Ирине. Ненависть взаимная, а любовь односторонняя. К тому же ненависть никто не опорочит: типичная несовместимость характеров и целей, ненавидьте себе на здоровье. А любовь — запретна. Не значит ли отсюда, софистически изрек бы твой учитель Раздорин, что ненависть благостней и поощрительной, чем любовь? Короче, что ненависть лучше любви?

На другой день перед поездкой на планетодром я зашел в Управление. Барнхауз уехал проверять, все ли готово для рейса на Ниобею. У Агнессы торжествующе сияли глаза, она уже знала, что я разрешил Ирине лететь. Она протянула мне какую-то бумагу для подписи. Золотые колокольчики в ее ушах вызванивали похоронный марш.

— Я написала от вашего имени, господин Штилике, объяснение, почему вы сочли нужным разрешить Ирине Миядзимо посещение Ниобеи. Я боялась, что у вас не хватит времени составить этот необходимый документ, а без него вылет Ирины на Ниобею невозможен.

В бумаге было написано, что Ирина Миядзимо направляется на Ниобею, потому что необходимо глубокое изучение нибов, а осуществить такое изучение может только она, выдающийся специалист в этнографии, всю ответственность за такое решение я, Штилике, беру на себя.

— Да это вздор! — воскликнул я. — Откуда мне знать, выдающийся ли она специалист? Я не читал ее работ и вообще лишь раз ее видел!

Колокольчики Агнессы внезапно сменили грустную мелодию на ликующую.

— Не хотите же вы, чтобы я написала, что вы уступили жене Виккерса потому, что она покорила вас, что взяла вас в плен своим обаянием, своим настоянием, своими... Короче, кто поверит, что знаменитый покоритель космоса Василий Штилике способен показать такую слабость? Впрочем, если вы настаиваете, я перепишу бумагу.

Я подписал документ и быстро вышел. Я опасался, что не сдержусь и честно выскажу Агнессе все, что думаю о ней. Она злорадно рассмеялась мне вслед.

5

Экспедиционная станция на Ниобее резко отличалась от других инопланетных станций: огороженная металлическим забором территория, башни по углам забора, на башнях пулеметы и боевые лазеры, внутри ограждения гаражи, мастерские, склады, причальные площадки и двухэтажная гостиница человек на тридцать. И, разумеется, вокруг станции — очищенное от деревьев и кустов пространство, даже холмы сглажены, а ямы засыпаны, чтобы никто не мог скрытно подобраться к забору. Когда на Земле критиковали косморазведчиков Ниобеи за создание такой крепости, они хладнокровно отвергали критику: нет, они не завоеватели, они идут с пальмовой ветвью мира в руках, а лазеры и пулеметы лишь на случай, если на них нападут.

Командир станции — Роберт Мальгрем, высокий швед с золотой, по плечи гривой и солнечно-яркой бородой.

— Коллега Штилике, вам лучше начать знакомство с туземцами с осмотра их древнего города, — предложил Мальгрем. — Сами нибы в нем давно не живут, хоть иногда и забредают туда и могут вам повстречаться. Печальное свидетельство нынешней социальной и интеллектуальной деградации несчастного народа — вот таким вам предстанет этот памятник их угаснувшего величия.

Ирина порадовалась, что знакомство с Ниобеей начнется с древнего города. Это местечко, говорила она, напичкано загадками. Все, что разведали о Ниобее, было ей досконально известно. Она выискивала в отчетах информацию, до какой и Мальгрем, и ее муж не доходили. Она пришла ко мне вечером, у меня сидел Мальгрем, и поделилась своим знанием. Еще первые астроразведчики обнаружили, что, кроме нибов, на планете некогда жили и существа, похожие на земных обезьян. Отчеты утверждали: между нибами и ниобейскими обезьянами шли войны, в результате обезьяноподобных истребили. К отчетам прилагались скорбные изображения: группки обезьян, уныло сидящие за загородками, те же обезьяны, вяло плетущиеся по равнине под охраной нибов...

— Не было войн, — с увлечением доказывала Ирина. — Все, что я вычитала в отчетах, свидетельствует, что нибы на войну не способны, и те обезьянки были не врагами, а домашним скотом. Их не истребляли, о них заботились, как мы о наших коровах и баранах.

— На изображениях нибы ведут обезьян под конвоем, — возражал Мальгрем. — Типичное шествие пленных после проигранного сражения. Вы завтра посмотрите эти картины: обезьяны упираются, а нибы их торопят, на лицах нибов нетерпение и злость, на лицах обезьян — отчаяние и покорность.

— Нибы просто спасают свое богатство, Роберт. Произошло извержение вулкана, их здесь так много! Нибы перегоняют свой скот подальше от огня и пепла. Вот что я увидела на изображениях, приложенных к отчетам. Я уже не раз доказывала Джозефу, что он неверно понимает нибов, но он не соглашается, он их не терпит. Очень хотела бы, чтобы вы отнеслись к ним пообъективней.

Они еще поспорили и ушли. Я вышел на плоскую крышу гостиницы. Оба светила, Гармодий и Аристогитон, закатились, но тьмы не было. Вверху сияли крупные звезды, их было много, голубых и красных, желтых и белых, — тысячами бессмертных глаз всматривалось ночное небо в диковинную планету. А на планете бушевали вулканы. Станцию разместили в отдалении от крупных горнил, но на Ниобее не было места, откуда бы не виделись высокие фонтаны пламени в мерцающей бахроме золотого дыма. Планета клокотала всем нутром, с грохотом и гулом исторгалась наружу. Планету мутило и рвало, она облегчала себя раскаленной блевотиной. И это было красиво — струи красной лавы, плывущие по склонам гор, смерчи пламени, устремляющиеся к небу, как взывающие о помощи руки, белокалильные камни, яркими болидами пронзающие воздух. Я долго не мог оторвать глаз от грозной феерии извержений.

— В город будем шагать пешком, — сказал поутру Мальгрем. — Далековато, но лучше, чем в вездеходе. Вы ведь знаете, что нибы недолюбливают машин.

Я не любитель пеших походов. Взбираться на гору мне трудно, а дорога шла вверх. В течение двух часов всех моих физических сил хватало лишь на то, чтобы не падать на крутых склонах и продираться сквозь колючие, пряно пахнущие кусты, а духовных — чтобы не ругаться, когда валился в ямы и расщелины, и не стонать, если ушиб был сильным. Красота роскошного леса прошла мимо моего сознания, красоту нужно созерцать, а я проламывался сквозь нее — в трудной физической борьбе с красотой не оставалось места для эстетического наслаждения. Зато Ирина всю дорогу пребывала в ликовании. Она падала, как и я, но не злилась — смеялась, а когда цеплялась за колючки какого-нибудь буйно цветущего куста, то восклицала, выдираясь из ветвей: «Боже, насколько же эти орхидеи красивей земных!» В какой-то момент с ближнего вулкана остро потянуло серой, она с наслаждением втянула ноздрями воздух, ее щеки вспыхнули от удовольствия. Даже серный дух планеты был ей по душе, ибо по душе была вся эта планета, куда она так долго и так безуспешно старалась попасть.

— Попахивает преисподней! В одном из кругов ада, помню, была такая же атмосфера, — мрачно сострил я.

— В аду не бывала, но не теряю надежды, — отшутилась она, — Вот встретимся после ада и поговорим, лучше там или хуже.

Ни она, ни я и отдаленно не предчувствовали, что уже немного времени до того, как судьба швырнет нас к черным котлам ада, и последующего обмена мнениями не будет.

Впереди неутомимо шагал Роберт Мальгрем. Этот человек рожден быть первопроходцем дебрей. Из таких людей в древности создавались завоеватели земель. Он не продирался сквозь кусты, а давил их тяжелыми сапогами. Временами он подбадривал нас — меня, естественно, а не Ирину — окриками, похожими на воинственные клики. Он как бы шагал по тропе войны и беспокоился, не отстает ли его воинство. Он разительно переменился, Роберт Мальгрем, выбравшись за грозные ограждения своей небольшой крепости. Там, под защитой лазеров и пулеметов, в своем служебном кабинете, он был суховат и сдержан, там для него всего важней была эффективность вверенного ему производственно-космического предприятия. А здесь он дал волю другому своему естеству, здесь он был энергичным, веселым, настороженным, полным воодушевления и тревоги, — всем одновременно. Мы только не знали, что вызывает у него тревогу.

Он вдруг прокричал из гущины скрывших его кустов:

— Шагайте быстрей, здесь отдохнем!

Мы выбрались на полянку на склоне горы. Я уселся на камень, Ирина опустилась на траву, она все же сильно устала. Мальгрем весело оглядел нас.

— Поздравляю с удачным выходом из леса, друзья!

— Нам что-нибудь грозило? — живо поинтересовалась Ирина.

Мне почудилось, что она даже разочарована: пугали опасностями, а ничего опасного не произошло.

Мальгрем разъяснил, что в лесу змеи, многие ядовиты. Впрочем, он захватил с собой противоядие. И хорошо, что не повстречались нибы, этот странный народец сердится, когда люди пробираются к заброшенному городу. Зато в самом городе они приветливы, там с ними можно беседовать, при помощи дешифратора конечно. И при возвращении из города их можно не опасаться. Еще не было случая, чтобы нибы нападали, когда люди спускаются к себе на станцию, — если люди не уносят ничего из города, этого нибы не любят. Вначале были стычки, когда первые косморазведчики переусердствовали по части золотых вещиц и драгоценных камней. Сейчас вывоз экспонатов запрещен, можно лишь фотографировать изделия нибов и отправлять на Землю добытое на планете сырье.

— Значит, были стычки с нибами? Они нападали? — уточнил я.

— Ну, нападения! Швыряли камни, махали палками. Одного отхлестали колючими ветками, он весь покрылся волдырями. Могли и глаза выхлестнуть, если бы не сбросил с плеч золотую змею с аметистами в глазницах. Отличная вещица, можете мне поверить.

Ирина нахмурилась. У нее очень менялось лицо, когда она хмурилась, — видно было, с каким усилием она ворочает в голове иные мысли. Сообщение о стычках людей и нибов опровергало ее убежденность, что нибы не воинственны. Она сказала почти враждебно:

— Я все же делаю вывод, Роберт, что причиной столкновения людей с туземцами было поведение людей. Люди грабили нибов, те не стерпели. Разве не так?

— Можно и так, — согласился Мальгрем. — Для нас в первые годы было важно, что нибы могут напасть, если им что не понравится. Чуть до войны однажды не дошло: нибы потребовали, чтобы мы перенесли станцию на сто километров. Мы упорствовали, они волновались. Барнхауз не пожелал обострять ситуацию, и мы уступили.

— Нибам нужно было то место, какое вы заняли станцией?

— Ничего им не было нужно. Станция, видите ли, портила им пейзаж, так они объяснили. Впрочем, все обернулось к лучшему. Спустя год неподалеку забушевал вулкан. Сейчас место, где стояла станция, залито лавой. Отдохнули? Полюбуйтесь пейзажем и двинемся дальше.

С полянки открывался великолепный вид. Мы стояли метрах в пятистах над равниной. Равнину покрывали леса, кое-где в темную красень сплошного леса — окраска растений на Ниобее красная и розоватая, только цветы дают все вариации спектра — вкрапливались голубоватые озерца и над деревьями высились остроконечные скалы. И на отдалении вздымались жерла вулканов — орудия, нацеленные в небо. Из них исторгались фонтаны огня и столбы дыма и пыли. Доносился глухой гул извержений. Почва вздрагивала. Ирина, мне показалось, забыла о цели нашего путешествия. Она подошла к обрыву, поворачивала голову то вправо, то влево, всюду находилось что-то, вызывавшее у нее интерес. И она опять вся раскраснелась от восторга, с ней так происходило всегда, когда что-либо занимало ее внимание, а вещей, недостойных внимания, для нее не существовало. Так было на Ниобее, но, думаю, иной она не была и на Земле.

— Как красиво! Нет, как удивительно красиво! — твердила она и оглядывалась то на меня, то на Мальгрема, как бы приглашая нас разделить ее ликование.

Я оставался спокоен, но на шведа, оставившего свою служебную невозмутимость на станции, восхищение Ирины подействовало. Он, впрочем, больше любовался ею, чем красочным пейзажем. Мальгрем приблизился к ней, она слишком опасно подошла к обрыву, протянул предостерегающе руку, чтобы удержать, если она поскользнется. Он был огромен и могуч рядом с ней — эдакая колонна на двух тумбах, крупноголовый, плечистый, с руками, как с лопатами на длинных древках. Оба светила, Гармодий и Аристогитон, красили его золотую бороду, она поблескивала волосками, как искрами. Но Ирина не обращала внимания на Мальгрема. Она просто стояла рядом с ним — маленькая, тонкая, быстрая, ее голова даже не достигала его плеча. И ее глубокий голос стал еще глубже — он шел, казалось, не из груди, а из самой души. Может быть, это надо сказать и не столь выспренно, но Мальгрем так вслушивался в ее голос, что любое преувеличение не противоречило реальности.

— Надо идти, друзья, — напомнил я. Мне, хорошо помню, хотелось прервать и ее созерцание окрестностей, и его любование ею. Ухаживания и увлечения в экспедициях не предусмотрены. Мальгрем, хоть и молчаливо, нарушал обычай.

Город открылся минут через десять. Сперва это были небольшие груды камней на склонах горы, груды делались все больше по мере того, как мы поднимались к вершине. Гора была из «столовых», ее почти плоская вершина охватывала с квадратный километр, и всюду громоздились каменные купола. Казалось, что мы попали на земной восточный базар, только здесь здания-шатры были и выше и массивней. Я подошел к одному, потрогал стены, камень плотно прилегал к камню — ровная, прочная кладка. Я с восхищением покачал головой, Мальгрем откинулся:

— Умели строить предки этих дикарей. Вот подойдем к их дворцу, вы еще больше удивитесь.

Мальгрем назвал дворцом исполинский каменный шатер в центре города. Если другие купола мало отличались от правильной полусферы, то этот походил скорее на конусообразный ненецкий чум. И он был так высок, что приходилось задирать голову, чтобы разглядеть вершину. Я снова полюбовался подгонкой каменных плит, сиреневых, красных, синих, желтых, черных. Каждая плита резко разнилась цветом от соседних, все вместе создавали пестрый и яркий ковер из самоцветов.

— Как невероятно красиво! — не переставала восторгаться Ирина, каменные творения нибов восхитили ее еще сильней, чем роскошные пейзажи Ниобеи.

— Как выносят эти сооружения вулканические катаклизмы? — спросил я Мальгрема.

Оказалось, нибы нашли для них самую устойчивую форму: здания вздымаются, как гигантские опухоли, землетрясения, или, верней, ниобетрясения, таким постройкам опасны лишь при очень больших смещениях почвы.

— Прочность их строений еще не чудо. Настоящее чудо увидите внутри, — пообещал Мальгрем.

Внутрь каменных шатров вело отверстие на уровне почвы, но с небольшим уклоном вниз. Мальгрему пришлось в три погибели согнуться, чтобы пролезть в дыру, Ирина не доставала головой до свода, я, лишь немного выше ее, касался макушкой холодного камня. Мальгрем освещал ручным фонариком путь в туннеле, Ирина, шла за ним, я замыкал. Мы спускались в причудливом переплясе фонарных бликов, отражавшихся от стен, как от зеркал, затем Мальгрем погасил фонарь и куда-то исчез. Ирина остановилась, я подтолкнул ее, она сделала шаг и тоже исчезла. Я последовал за ней. Мы вошли в освещенный зал.

Внутренность дворца была внутренностью купола: это был как бы исполинский колокол метров в сорок высотой, по его сужающимся вверх стенам простирались шесть этажей — поясами по периметру. Каждый этаж нависал над залом кольцевой верандой с балюстрадой. И все внутреннее пространство было лишь шестью поясами таких сужающихся веранд, только на самом верху светило гладкое белое пятно — крохотный потолок огромного помещения.

— Великолепно, правда?

И как в настоящем колоколе, громкий голос Мальгрема загудел, отразился от нижних этажей на верхние и, несколько раз повторился эхом, постепенно меняя силу и тон. «Великолепно, правда?» — грохнуло внизу, «...лепно...авда...» — мелодично прозвучало выше, «...лепно...да...» — тоненьким звуком донеслось сверху. Мальгрем захохотал и с минуту наслаждался гармонией новых эхо. Ирина тоже смеялась, но ее слабый голос не смог породить столько эхо. Мальгрем потом, уже на станции, признался, что и раньше многократно испытывал акустику дворца на разной мощи голоса. И для ублажения Ирины — ей все больше нравилась мелодия колокольных эхо — Мальгрем то кричал, то пел, то шептал, но каждый раз на полном дыхании, без этого эхо звучало не так выразительно. «Э-ге-ге!» — гремел Мальгрем, «Ух-ух-ух!» — выкрикивал он, «А-ха-ха!» — шептал и пел он, и купол десятикратно возвращал ему и «Эге-ге», и «Ух-ух», и «А-а!».

Что до меня, то освещение купола поразило меня сильней его многогласных эхо. Каждая балюстрада, все перила, потолки этажей, нависающих над залом, — все излучало свое особое свечение. На первом этаже преобладало темно-вишневое сияние, прорезанное золотыми полосами, выше оно было оранжевым, потом зеленоватожелтым, а наверху — тонко-голубым. И все краски смешивались с сиянием золота, золото преобладало, отчеркивало собой и угрюмую красноватость низа, и зелень средних поясов, и возвышенную голубизну свода. Даже воздух, сухой и чистый, без примеси серы, столь отчетливой снаружи, как бы сам светился слабой фиолетовозолотой дымкой.

— Любуетесь освещением? — обратился ко мне Мальгрем, когда ему надоело вызывать разноголосицу эха, Стоит! Я послал предложение внедрить на Земле такую же систему освещения. Не думаю, впрочем, что согласятся. Красиво, но опасно. Это ведь радиоактивные краски. Нибы смешивали истолченные цветные минералы с радиоактивными веществами, и в каждом возбуждалось свое свечение. Вы сейчас увидите их картины, они тоже писаны радиоактивными красками. Наши земные художники до такого не додумались.

Он вел нас по всем шести верандам, образующим своими кругами внутренность зала. Собственно, это были не круги, а витки спирали, но такого большого радиуса, что отличие от окружностей почти не воспринималось. Да и сам пол был так искусно изогнут, что в любом месте все шесть этажей протягивались над ним без наклона, — пол Повторял кривизну этажных витков.

На первом этаже мы попали на широкую галерею, и я увидел то, о чем прочел в отчетах Виккерса: внутренность дворца была музеем творений резца и кисти. Но надо было собственными глазами увидеть это чудо искусства, чтобы почувствовать его совершенство. Весь нижний этаж заполняли статуи — лес каменных фигур в два и три человеческих роста: зеленые полированные змеи, вздымавшие винтами свои остроголовые туловища, диковинные зубастые птицы, широко распахнувшие голубые крылья в хищном полете, готовящиеся к прыжку красные зверьки, те же зверьки, в испуге распластавшиеся на почве, множество обезьяноподобных существ, рыжих, ушастых, хвостатых, длинноногих, длинноруких, длинношерстных с умильно добрыми и унылыми мордочками. Но всего больше было самих нибов: рослых и крохотных, прямошагающих и ползущих, старчески согнутых и по-молодому стройных.

Мы пробрались сквозь чащу статуй к стенам. На них были радиоактивные картины. Я вдруг потерял ощущение места. Я знал, что передо мной только стена, но стены я не видел. Впереди раскрылась цветущая полянка, усеянная голубоватыми валунами, справа поблескивало темное озерцо, слева высились густолистые деревья, а вдали, над озером и лесом, поднималась конусообразная голова вулкана, она была багрова, из нее исторгалось пламя и выбрасывался дым, дым свивался в клубы, его тянуло ветром к нам, я потянул носом воздух и ощутил гарь и серу. Невольно я сделал шаг вперед, к озерку, и ударился головой о стену, и только тогда пропало ощущение реальной дали и запаха дыма и серы.

Мальгрем гулко захохотал. Ирина смеялась. Сконфуженный, я потер ушибленный лоб.

— Какая стереоскопичность! — воскликнула Ирина. — Даже великие живописцы Земли не воспроизводили так глубину далей.

Меня все же сильней, чем стереоскопичность пейзажа, поражало разнообразие цвета. Я просто не знал, что физически возможна такая палитра ярчайших красок, горящих не от внешнего освещения, а собственным свечением. Я спросил:

— Не опасна ли интенсивность света? Вероятно, нибы использовали очень активные вещества.

— Нет, радиоактивность невысока, — ответил Мальгрем, — в зале ионизация лишь немного выше, чем снаружи, — И добавил: — Долгое пребывание внутри дворца людям все же не рекомендуется.

Мы двигались по галерее, переходили со спирали на спираль, а на пути непрерывно тянулась все та же чащоба статуй, а по стенам — все такие же яркие, самосветящиеся, разнокрасочные картины. И вскоре стало ясно, что от этажа к этажу тематика статуй и картин меняется. Внизу древние художники и скульпторы только вглядывались в мир, они как бы говорили картинами и изваяниями: «Вот это простор перед домом, а вот это — страшный вулкан, хорошо бы от него подальше. А вот звери, рыскающие в лесу, и птицы, несущиеся над лесом. А это уже мы сами, а рядом обезьяны — у, какие образины!» Но уже на втором этаже появились жанровые сценки: кучка нибов бежала за зверем, другая кучка тащила убитых птиц. Сценок охоты становилось все больше, на третьем этаже, кроме них, ничего и не было, но здесь к охоте на птиц и зверей добавились картины расправ с обезьянами. На колоссальном, в пол-этажа, панно с жутким совершенством воспроизводилось, как нибы хватают отчаянно отбивающуюся обезьяну, — я почти физически слышал надрывный визг жертвы; как метрах в двух подале, на другой ярко светящейся картине, тащат разделанную тушу на костер, и еще дальше — как ее поедают и каким удовольствием, почти блаженством, светятся нибы — густым сиянием излучалась на нас картина пиршества.

— Отвратительно! — прошептала побледневшая Ирина.

— Выше еще отвратительней! — мрачно предрек Мальгрем.

Выше уже не было ни зверей, ни птиц, ни змей. Вообще статуй стало поменьше, уже не лес самосветящихся изваяний, только отдельные фигурки. Зато живопись становилась искусней и ярче, вместо красочных пейзажей лесов, озер и вулканов — сцены сборищ. Мальгрем на четвертом этаже молча подвел к ужасной картине: нибы поедали ниба. Это был, несомненно, ниб, а не обезьянка, и ели его хмуро, без обжорного блаженства, запечатленного этажом ниже. Неведомые художники изобразили не пиршества, а скорбную трапезу — такой мне увиделась картина. Я долго всматривался в группу, понурившуюся у костра, где жарился их собрат. На нижних этажах нибы изображались рослыми, краснощекими, их почти безносые лица с вытянутым вперед — по-звериному — ртом, были по-своему привлекательны, запавшие глаза под покатым лбом смотрели весело и разумно. Ничего из внешней привлекательности теперь и в помине не было. Унылые фигуры, бесстрастные лица, тусклые глаза, висящие как плети длинные руки...

— Впечатление, что к каннибализму нибов принудила голодуха, — оценил я картину, — И они не радуются, что нашли такой страшный выход из безвыходной нужды.

— На том этапе их истории, лет тысячи две назад по земному счету, возможно, это было и так, — возразил Мальгрем. — Но потом они возвели нужду в добродетель. Нибоедение превратилось в ритуальный обряд. На пятом и шестом этажах вы увидите сами, какое пышное оформление получил каннибализм.

На пятом этаже обезьян уже не было ни среди статуй, ни на картинах. Очевидно, к этому времени их больше не существовало. Не существовало и птиц и зверей, или, быть может, они стали так редки, что нибы перестали воспроизводить их в рисунках и изваяниях. Теперь скульпторы и живописцы сосредоточились на изображении своих сородичей. Нибы как бы погрузились в самопознание — и картины и изваяния передавали их настроения и мысли. Я долго не отрывался от скульптуры молодого ниба: печальное лицо, сумрачные глаза, длинные руки, сложенные крестом на груди, — совершенный образ скорби. Рядом старик глядел веселей, он улыбался, подняв вверх лицо, шея и руки его были обвиты пурпурными лентами, гирляндами пурпурных цветов, краски не светились, а пламенели.

— Вас не удивляет убранство старика? — спросил Мальгрем. Мы с Ириной одновременно пожали плечами. — Тогда подойдем вон к той картине.

На картине был изображен такой же старик, убранный такими же яркими лентами и гирляндами цветов, и на лице его сияла такая же радостная улыбка, он готовился к чему-то отрадному — таким его живописал художник. Но готовили старика к закланию. Тускло светились раскаленные камни костра, стояли палачи с каменными секирами в руках. А у самого костра рослый ниб с распростертыми руками, казалось, призывал свыше благословение на жертву.

— Здесь они священнодействуют перед казнью, на соседних картинах — пожирают казненного, — прокомментировал Мальгрем. — На последнем этаже такие же сценки, только мастерством похуже.

Уже к концу пятого этажа стало видно, что и краски светят не так ярко, и рисунки не так выразительны. На шестом, последнем, этаже каменные изваяния выглядели грубыми поделками. На картинах появились новые сцены: к очагам на заклание вели уже не одних стариков, попадались и молодые. Но с тем же изощренным старанием живописцы изображали на лицах жертв удовлетворенность, почти радость.

— Противоестественно! — с негодованием воскликнула Ирина. — Никогда не поверю, чтобы живое существо, особенно молодое, радовалось, что его убьют, а потом съедят!

— Возможно, религиозное изуверство, — сказал я. — Фанатики впадают в экстаз. На Земле в старину люди с ликованием самоумертвлялись, чтобы обрести посмертное блаженство.

— Религиозных обрядов мы не обнаружили, — тихо проговорил Мальгрем. Он наклонился над перилами галереи и что-то высматривал. — Нас выслеживают! Я побегу вниз, а вы не торопясь идите за мной.

Когда мы с Ириной сошли с последней галереи, Мальгрем разговаривал в зале с двумя нибами. Я впервые увидел живого ниба. Оба были и похожи, и непохожи на изваяния и фигуры на картинах — те же, но ростом пониже, с тусклыми лицами, с неживыми глазами; узкие, покатые плечи плавно переходили в шею; вытянутый вперед губастый рот придавал сходство с собакой; пальцы, непомерно длинные и гибкие, нервно шевелились. Они что-то произносили, нечленораздельные звуки сливались в протяжный гуд — низкий у одного, повыше у другого. Мальгрем держал портативный дешифратор, провод от него был вставлен в ухо. Гул оборвался, Мальгрем похлопал по конусовидному плечу одного ниба, подтолкнул другого, и они юркнули в туннель выхода.

— Забеспокоились, не разбойничаем ли в их священном дворце, — сказал Мальгрем, вынимая провод из уха. — Я объяснил, что ничего изымать не будем. Мы можем спокойно возвращаться на станцию.

— В отчетах сказано, что они нападают только на машины.

— На машины — всегда, на людей — иногда. Потащишь что-нибудь из их художественных поделок — неприятностей не оберешься. Из всех подземелий вылезут, набросятся скопом.

— Они живут в подземельях?

— В норах, так точней. В городе, в эпоху расцвета, они тоже копали себе норы. Шатры и купола, которые мы видели, — только надстройки над жилыми помещениями. И освещение там такое же, как во дворце, — радиоактивные светильники. Света хватает.

— Туннель здесь не освещается, — напомнила Ирина.

— Чтобы не вызывать любопытства даже у своих. Они побаиваются темноты. Ритуальные трапезы устраиваются только в полдень. Кстати, скоро будет такая трапеза. Трое нибов, приготовленных к закланию, уже проходят ритуальное очищение. Старшины приглашают нас присутствовать при их поедании. Разумеется, в роли зрителей.

— Я хочу посмотреть, — быстро сказала Ирина.

— Не советую. Я однажды присутствовал при нибоедении. Отвратительное зрелище.

— Мне надо, — настаивала Ирина. — Я этнолог, я должна досконально знать народ, который изучаю.

Мальгрем отрицательно покачал головой. Ирина обратилась ко мне:

— Штилике, не прощу ни себе, ни вам, если улечу с Ниобеи, не изучив всех обычаев нибов.

— Слишком сильный аргумент — не прощу! — сказал я. — Впрочем, если Мальгрем гарантирует безопасность... Я и сам не прочь взглянуть на ритуал трапезы. Нам ведь надо найти способ ликвидировать нибоедение, а для этого следует предварительно узнать, что оно собой представляет.

— Что оно представляет, вы видели и на картинах, хмуро сказал Мальгрем. — Что до безопасности, то есть только одна гарантия: вести себя осторожно.

6

Мальгрем уточнил: до отвратительного пиршества осталось три дня. Эти дни я наполнил знакомством с планетой и рудными промыслами. На участке горных разработок грохотали механизмы — не только машиноненавистники нибы, но и любой человек на Земле счел бы соседство с ним непереносимым. Дома сложная технология разработки недр ослабляет шум, предотвращает пыль, исключает взрывы. Но на внесолнечных планетах далеко до полного внедрения земных технологий. На Ниобее господствовал период взрывов, пыли и грохота. И, вдумываясь в будущее планеты, я все более утверждался, что надо это безобразие прекратить, до привоза сюда комплекта самых совершенных машин отказаться и от разведки руд, и от их добычи.

Мальгрема в эти дни я почти не видел — он сортировал добытое богатство. Ирина ликовала. Исполнялись ее заветные желания, она вслух мечтала о своей будущей монографии под названием: «Нибоведение. Краткий очерк истории и быта загадочного общества». Особенно восхитило ее пещерное жилище нибов, она еще раз проникла туда вместе с Мальгремом и даже побеседовала с обитателями — швед снабдил ее портативным дешифратором, настроенным на язык нибов.

Вечером перед церемонией каннибализма Мальгрем пришел ко мне и неожиданно попросил запретить Ирине посещение пиршества. Дескать, такие зрелища не для нее. Пойдем мы вдвоем, если это так важно для науки. Ирина пусть остается на станции.

— Почему вы делаете для нее исключение?

— Мы с вами мужчины, Штилике, а она женщина. По-моему, этим все сказано.

— Этим еще ничего не сказано. Она исследователь, как вы и я. Принято не замечать в дальних рейсах, кто мужчина, а кто женщина. Все пользуются одинаковыми правами, выполняют одни обязанности.

Мальгрем вспылил:

— Плевал я на дурацкое равноправие! Мы с ней не равны и никогда не будем равны. И я знаю, что она легче меня может попасть в беду, и знаю также, что моя первая обязанность — всегда и везде защищать таких, как она. Я плюнул бы на свое отражение в зеркале, если бы хоть на миг отказался от своего права и обязанности быть сильней.

Он стоял передо мной, разозленный, гневно сжимал кулаки, как если бы уже готовился к драке за нее.

Я холодно сказал:

— Почему бы вам не информировать ее саму о своих мужских правах и обязанностях?

Швед мигом остыл.

— Она так посмотрит... Кто я ей, в конце концов? А вы — уполномоченный Земли, нам велено выполнять ваши распоряжения. Она к тому же ваш работник. Вы можете не просить, а приказать.

— Я поговорю с ней. Приказывать не буду, уговорить попытаюсь.

Ирина Миядзимо вошла, готовая к спору. Она ни секунды не сомневалась, что я передумал, и твердо решила не дать мне использовать свои права. Я это понял сразу же, как увидел ее раскрасневшееся лицо, ее блестящие глаза. Ирина хорошела, когда сердилась. Она знала это о себе. Это было ее силой, неоднократно проверенной в спорах, но и ее слабостью, о чем она еще не подозревала. И я думал превратить ее силу в слабость. Однако и она заранее оценивала, какие доводы я могу ей привести, и собиралась пробить в них брешь именно там, где я был послабей.

— Мне не нравится, как вы ведете себя, Ирина, сказал я. — Простите за откровенность, но вы порождаете среди сотрудников станции нежелательные чувства.

Она не ожидала такого начала и смутилась.

— Я бы простила вас за откровенность, Василий-Альберт, но пока не услышала ничего откровенного. Нельзя ли расшифровать намек?

— Сейчас расшифрую. Сознательно вы, конечно, не стремитесь стимулировать у нас... у некоторых работников... чувства... В общем, ненужные и вредные. Но ваше объективное поведение...

— Уж не хотите ли вы сказать, что я заигрываю с сотрудниками станции?

— Ирина, я не давал вам повода считать меня глупцом. Намеренно вы ни с кем не заигрываете. Но ведете себя так, что у сотрудников невольно возникает стремление опекать вас. Знаете единственный способ заставить соседей забыть о том, что вы женщина? Помнить самой всегда, что вы женщина.

— Вы считаете парадокс объяснением?

— Никакого парадокса! Вам непосильно многое, что могут только мужчины. Значит, следует сознательно избегать всего слишком трудного для женской натуры. И тогда никому не придет на ум, что он должен спешить вам на помощь. Он будет чувствовать себя лишь вашим сослуживцем, а не представителем сильного пола.

— Этот разговор имеет отношение к завтрашней церемонии?

— Самое прямое. Мальгрем побаивается пускать вас на сборище нибов. Он убежден, что женщине не место на их пиршестве. Женщине, Ирина, а не косморазведчику, космоэтнологу, моему секретарю, наконец. При мысли о грозящей вам опасности он вспомнил, что как мужчина обязан уберечь вас от беды.

— Он сказал, какая беда грозит мне, если я пойду?

— Не сказал. Возможно, и сам толком не знает. Но он тревожится. За меня или за себя он и не думает опасаться.

— Вы берете назад свое разрешение?

— Просто прошу вас отказаться от завтрашнего выхода. Мальгрем передал мне свое беспокойство, я разделю все его чувства.

— Все его чувства? — Ирина подошла поближе, раздраженная и решительная. Она стояла прямо передо мной в своем комбинезоне косморазведчика, с вызовом откинув голову, волосы рассыпались по плечам... — Но что значит — разделяете все его чувства? А если он влюблен в меня? Стало быть, и вы влюбились?

Она издевалась и дразнила меня. Она вызывала меня на резкость. Я сделал усилие, чтобы сохранить невозмутимость.

— Нет, Ирина, я не влюблен в вас. Я не из тех, кто нарушает правила поведения в коллективе. И не строю себе иллюзий.

Она так сморщилась, словно проглотила что-то невкусное.

— Понятно: рыцарь служебной добропорядочности. Я это поняла еще на Платее. Очень скучно, но добродетельно. А как понять утверждение насчет иллюзий?

— В самом прямом смысле, Ирина. — Я старался говорить спокойно, только такой тон сейчас годился. — Отлично понимаю, кто я и кто вы. С меня этого достаточно, чтобы ни здесь, ни на Земле не влюбиться в вас.

— Вы совершенный образец косморазведчика, это уже установлено!

Я хотел запротестовать, она не дала.

— Я буду осторожна, — сказала она умоляюще, Очень, очень осторожна! И, учитывая наши объективные различия, ну, просто чтобы польстить хвастающемуся своими преимуществами Мальгрему, буду всюду рядом с ним и с вами и охотно приму вашу помощь, если понадобится. Теперь вам остается доказать, что у вас нет ко мне никакой... в общем, особого чувства.

— Вы чертовка, Ирина! — сказал я, засмеявшись. — Разве что в доказательство, что у меня нет к вам особых чувств...

Она смеялась вместе со мной. Она была очень хороша в ту минуту. И была уверена, что я вру о своем равнодушии, а на деле влюблен по уши.

7

Этот день, отмеченный черной краской в календаре моей жизни, начался отличной погодой. На безоблачном небе Гармодий с Аристогитоном светили ярко и весело, одно солнце сияло красноватым, другое желто-зеленым, причудливые краски ложились на холмы и горы, они менялись непрерывно, зеленое как бы бежало за красным, краснота опережала желтизну. Я любовался величавым шествием солнц и причудливой сумятицей красок и все больше понимал, что народ, населяющий эту планету, не может не быть наделен даром к живописи. Иначе надо обвинить природу в эстетической расточительности — порождает красоту ни для кого, ни для чего. Вот какие мысли вызвало во мне прекрасное утро. Возможно, влияло и то, что вулканы в этот день устроили себе выходной, ни пыли не плавало в воздухе, ни серой не разило. Я сказал Ирине:

— Такие дни природой предназначены для великих дел. А мы идем лицезреть низменное пиршество, которое ничего, кроме отвращения, вызвать не может.

— У нас, не у них, — возразила она. — Ваше рассуждение человеческое, слишком человеческое, как выразился один древний философ. Понятия низменного и высокого у разных народов различны, говорю вам как специалистэтнолог. Вспомните живопись нибов: с какой истовостью и воодушевлением, с какой гордостью за свою участь шествуют обреченные на съедение. Здесь человеческого отношения к жизни и в помине нет.

Я не нашел лучшего аргумента, кроме стандартного:

— В таком случае будем сравнивать разные формы чистоты и справедливости, если они у других народов не похожи на наши. И тогда я докажу, что наша человеческая, даже слишком человеческая, чистота — чище, наша справедливость — справедливей.

— Другого от вас и не ожидала! Вы ведь образец морального совершенства. Но я не верю в абсолютные критерии морали.

Ирина спорила, улыбаясь. Она умела улыбкой смягчить любой ответ. Ее улыбка говорила: я насмехаюсь над вашими мыслями, но не над вами, я не могу насмехаться над вами, вы мне по душе. Если улыбка ее мужа, холодная и высокомерная, отталкивала, как невежливый толчок в грудь, то ее улыбка была подобна дружелюбно протянутой руке. Она была поступком, а не миной на лице.

Мы снова поднимались к заброшенному городу. Вскоре мы увидели нибов. Они неслышно появлялись из кустов, неслышно исчезали. Некоторые невнятно гудели. Я спросил, о чем их гуд. Мальгрем ответил, что они радуются присутствию людей на торжестве.

Я забыл упомянуть, что перед дворцом простиралась площадь и на ней были разбросаны плоские камни разной высоты. Посередине площади они образовывали правильный треугольник — стенки горна. На остальных восседали нибы. Нибов все прибывало, они уже не просто сидели, а теснились на каменных пьедесталах. Нам троим отвели камень неподалеку от горна. С десяток нибов чистили горн — убирали листья, углубляли дно. А потом при общем вопле сборища из леса вымчалась группка нибов, они несли на плечах большую плиту с раскаленными камнями. Носильщики проворно ссыпали свою ношу в горн, и вся внутренность его запылала белокалильным жаром.

— Раскаленные камни приносят из ближайшего вулкана, — прокомментировал Мальгрем. — Подбираются к кратеру и длинными черпаками вытаскивают самые горячие камни. Посмотришь — дух захватывает. Нужна чрезвычайная ловкость. Иногда гибнут. Обычай тверд — никакой иной жар, кроме как из вулкана, не подходит для ритуала.

Еще десяток носильщиков примчали новую партию камней, следом — третий отряд. Горн заполнился доверху. Сборище разразилось ликующим гудом. Из дворца появились три ниба в ярких одеждах, за ними — группка нибов, одетых, как и все остальные, в некое подобие штанов из гибких ветвей, в таких же курточках и с каменными палицами в руках.

— Обреченные, — хмуро сказал о троих разряженных Мальгрем. — Один за другим будут демонстрировать свою радость.

Двое были старики, третий выглядел молодым. Первый старик выступил вперед и у самого горна пронзительно загудел. Гуд показался мне унылым, но лицо старика выражало воодушевление. Вообще лица нибов, чем-то напоминающие человеческие, а чем-то собачьи, очень выразительно передают их чувства. Старик воздевал вверх руки, длинные пальцы извивались, как змейки, он гудел все пронзительней и медленно обходил раскаленный горн. Завершив круг, он остановился, простер руки в стороны, гуд превратился в визг. И тогда к нему подошли нибы сопровождения, почтительно взяли под руки и торжественно повели во дворец.

— В зале его прикончат, разделают, разложат на каменной жаровне, — продолжал свой комментарий Мальгрем. — То же проделают и с остальными двумя, а когда жаровня наполнится доверху, ее вынесут и водрузят на горн. И начнутся пляски и визг вокруг горна. Будет очень красочно и очень мерзко, можете мне поверить.

— Какой ужас! — прошептала Ирина. Она побледнела.

Вперед выступил второй старик. И все повторилось: он гудел и пел, вздымал и простирал руки, обходил по кругу горн, демонстрируя на все стороны душевное удовлетворение почетной судьбой.

— Посмотрите на молодого, Штилике, — потрясение прошептала Ирина, — Посмотрите на молодого!

Молодой трясся, лицо перекосило от страха, он затравленно оглядывался, будто отыскивал, куда скрыться. Его поведение ничем не напоминало то, что мы видели на картинах во дворце и уже здесь на площади. И, похоже, это не было очень уж необычным: стража следила за молодым нибом, словно ожидая сопротивления.

— Он глядит на нас, он умоляет о спасении! — горячо шептала Ирина, — Боже мой, надо что-то сделать! Роберт, вы здесь все знаете, сделайте что-нибудь!

— Спасти его невозможно, если не хотим восстания нибов! — сурово отозвался Мальгрем. — Сидите и не шевелитесь, чтобы не вызвать беду. Я даже не могу увести вас, это сочтут оскорблением.

— Он смотрит на нас, он умоляет о спасении! — повторяла Ирина. — А мы ничего не делаем, мы ничего не делаем!

Второго старика увели во дворец. Настала очередь последней жертвы. Стража двинулась к молодому, чтобы силой вытолкнуть его вперед. И тогда он рванулся, выскочил на одну из плит горна, отчаянным прыжком перелетел через раскаленные камни и бросился к нам. Ниб упал на колени перед Ириной, обхватил ее ноги. Он отчаянно гудел, по лицу лились слезы. Ирина прижала его к себе. Мальгрем в смятении закричал:

— Немедленно отшвырните его! Ирина, нам всем не сносить головы, если вы не оставите его! Ирина, умоляю вас!

Она исступленно закричала:

— Не отдам, никому не отдам!

Бесконечно долгую минуту на площади перед дворцом стояла мертвая тишина, выкрик Ирины на мгновение прервал ее, но не расковал. Стража ошеломленно застыла на своих местах, сидевшие на камнях только таращили глаза. А затем разразился тысячеголосый гуд, все вскочили, стража надвинулась на нас, за стражей напирало все сборище. И, словно услышав в гудящем реве толпы свой окончательный приговор и сразу потеряв надежду на спасение, обреченный юноша оторвался от ног Ирины и повернулся к стражам, покорно отдавая себя на расправу. Ирина схватила его за плечо, он вырвался. Мальгрем с силой дернул Ирину к себе и быстро сказал:

— Сейчас на нас бросятся. Я послал на станцию сигнал тревоги. Нужно укрыться в одном из заброшенных домов, пока не подоспеет помощь. Штилике, отступайте назад и охраняйте Ирину, а я задержу нападающих.

Он ударил ногой одного из наседавших стражей, ошеломил кулаком второго, выхватил его палицу и вскочил на каменную плиту, на которой мы минуту назад сидели. Нибы нестройно ринулись на него, он взмахом палицы отогнал их, потом обернулся и сердито крикнул:

— Бегите же! И секунды не теряйте, слышите!

Я схватил Ирину за руку и потащил за собой. Она вдруг начала отбиваться, что-то со слезами твердила, я не стал слушать. Выше того места, где мы стояли, метрах в двухстах, я увидел каменный шатер с темным входным отверстием внизу и устремился к нему, не отпуская Ирининой руки. Ирина запнулась и упала. Поднимая ее, я оглянулся. Мальгрем продолжал сражаться, не подпуская рвущихся к нам нибов. Он возвышался великаном на каменной плите, палица взлетала и опускалась, он поворачивал то вправо, то влево, и каждому взмаху палицы отвечал визг ниба. Швед что-то яростно орал, чуть ли не перекрывая гул толпы. Он весь был охвачен мрачным ликованием боя. Так, вероятно, его древние скандинавские предки в сражениях свирепо орали и пели, отбиваясь и нападая, пока их самих не повергали наземь.

— Штилике, я не могу идти! — донесся до меня рыдающий шепот Ирины. — Я сломала ногу!

Схватив Ирину на руки, я побежал наверх. И тут из леса выскочила группа нибов. Им удалось обойти Мальгрема, не ввязываясь в драку, и они устремились за нами. Кто-то ударил палицей меня по голове, я зашатался и выронил Ирину. Увернувшись от нового удара, я пнул ногой нападавшего ниба. Он покатился вниз, жалобно гудя. Конечно, я был гораздо сильней любого из них, а их было не так много, чтобы справиться со мной. Я не схватил брошенной палицы, не орал свирепо и победно, как Мальгрем, я дрался руками и ногами. И, разогнав наседавших нибов — кто в панике удрал, кто катался по склону, пронзительно гудя, — я кинулся поднимать Ирину. Она была без памяти, по лицу — видимо, от удара палицей — прозмеилась узенькая полоска крови. Я потряс ее, она не открыла глаза. Тогда я снова побежал наверх с ней на руках. Никто больше не преследовал нас. Я внес Ирину внутрь шатра, положил ее на пол и выскочил наружу, чтобы посмотреть, что с Мальгремом.

Мальгрем отступал. Он медленно двигался спиной на меня, палица в его руках вздымалась и опускалась. Он отходил по всем правилам старинного боя — не бежал в панике, а свирепо огрызался. И он пел, громко и грозно пел какой-то боевой гимн. Я оглянулся: не подкрадывается ли кто к убежищу, где я спрятал Ирину? Поблизости были только те нибы, что наседали толпой на Мальгрема. Я поспешил к нему. Спустя минуту вокруг нас не было ни одного врага. В ужасе смотрел я на Мальгрема. Окровавленный, с заплывшим правым глазом, с повисшей левой рукой, он еле держался на ногах. Но ожесточение боя еще не угасло в нем, он не бросил палицу и, повернувшись к убежищу, высматривал зрячим глазом, не схоронился ли где несраженный ниб. Потом он прислушался к нагрудному передатчику и хрипло сказал:

— Мои сотрудники спешат с оружием. Этим поганцам придется худо, если они опять нападут. — Только после этого он спросил: — Что с Ириной, Штилике?

— Она без сознания. Ее нужно перенести на станцию.

Сильно хромая, опираясь на палицу, как на палку, Мальгрем тащился за мной к каменному шатру. Я вынес Ирину на воздух. Мальгрем встал на колени, всмотрелся в бледное лицо Ирины, пощупал здоровой рукой ее пульс, потом хмуро сказал:

— Боюсь, дело хуже, чем простая потеря сознания.

Из леса выбежали сотрудники станции. Я поднял и понес неподвижную Ирину, рядом ковылял Мальгрем, сотрудники станции охраняли нас. Нибов нигде не было видно. Мы прошли через площадь, обогнули горн. Камни погасали, белокалильный жар превратился в темно-вишневый, но огненное дыхание еще струилось над костром. Мальгрем все тяжелей передвигался, даже палица не помогала держаться прямо. Одна нога была основательно покалечена, вторая от многочисленных ушибов плохо сгибалась. Он сказал с кривой усмешкой:

— В пылу сражения раны как-то не ощущались, но сейчас придется подумать о костылях.

На станции Ирину внесли в больничную палату. Врач долго выслушивал ее сердце, смотрел показания приборов, приставленных к ее телу. Я нервничал. Мне думалось, что неплохо бы проявить побольше оперативности, чем переносить датчики аппаратов с одного места на другое. Мальгрем зашел в палату забинтованный, уже не с палицей, а с палкой, левая рука висела на перевязи.

— У нее повреждение мозга, Роберт, — сказал врач Мальгрему. — Состояние грозное. Нужно немедленно лететь на Платею, здесь ни за что не поручусь.

Мальгрем посмотрел на меня, я сказал:

— Срочно подготовьте планетолет. Я полечу с ней.

Мальгрем ушел. Врач остался в палате, временами он подходил к Ирине, переставлял свои аппараты, делал инъекции. Я сел в сторонке, чтобы не мешать. Ирина лежала неподвижная, с закрытыми глазами, очень бледная, так страшно осунувшаяся, что мне на ум пришло старинное выражение: «Краше в гроб кладут». «Гроба не будет, — оборвал я себя, — Клиника в Платее не хуже земных, сейчас люди не умирают от сотрясения мозга!» В ушах у меня звучал голос Ирины, слова, которые я так и не расслышал. Я все вспоминал, все вспоминал — как я потащил ее за руку, как она отбивалась, что-то со слезами прокричала. Почему она отбивалась? О чем кричала? Может, ее исподтишка ударили палицей, а я не заметил, не сумел отразить удар? Мысли стали непереносимыми. Я спросил врача:

— Вы полетите с нами?

— Конечно, — ответил он, не отрывая глаз от Ирины.

В палату вошел широкоплечий парень. Вильям Петров, пилот того планетолета, что доставил нас с Ириной на Ниобею. Он сказал, что планетолет готов, надо собираться. Я ушел к себе взять вещи и документы. По дороге меня перехватил Мальгрем.

— Понимаю ваше состояние, Штилике. — Сильно хромая, он вошел со мной в мою комнату, — Но нужно решить важные дела. Хочу получить вашу санкцию.

— На что санкцию? — спросил я, собирая вещи.

— На сражение с нибами. Автоматические информаторы, установленные в поселениях нибов, доносят о большом волнении. Пиршество не возобновили. Приготовленные к трапезе жертвы покинуты во дворце. Нибы спешно собирают все оружие, каким располагают.

— Ваш прогноз, Мальгрем?

— На станцию готовится нападение. Не думаю, что оно произойдет сегодня или даже завтра, но войны не избежать. Я расставил посты, приказал всем, кто выходит за границы охраняемой территории, брать с собой оружие. Вы знаете, что Земля запрещает вооруженным людям общаться с нибами. Теперь вы видите, что все кончилось бы иначе, если бы мы взяли хотя бы пистолеты. Глупый запрет, не правда ли? И я надеюсь, вы убедите земное начальство, что, невооруженные, мы отныне не можем исполнять на Ниобее свои служебные...

Я прервал его:

— Никакого оружия больше не понадобится, Мальгрем. Ибо больше не будет никаких служебных обязанностей на Ниобее. Я предлагаю вам свернуть все работы, законсервировать станцию и завтра же отбыть всем коллективом на Базу.

Нападение нибов ошеломило его меньше, чем мои слова. Он глядел округленными глазами, словно не верил в услышанное, потом взял себя в руки и через силу усмехнулся:

— Категорическое предписание! А если я не подчинюсь, Штилике? Мой начальник Питер-Клод Барнхауз, а не вы. Он пока не приказывает свернуть работы на Ниобее.

Я сказал спокойно:

— Вы, конечно, можете не подчиниться, я вам не начальник. Но Питер-Клод Барнхауз обязан выполнять приказы правительства Земли. И он встанет перед выбором: либо утвердить ваше решение и тем продемонстрировать свое неповиновение правительству, либо объявить, что вы действовали по собственной прихоти и против его желаний, то есть принести вас в жертву. Как, по-вашему, он поступит?

Ситуацию Мальгрем уяснил себе без дальнейших разъяснений.

— Завтра эвакуируемся, Штилике.

И, поклонившись, вышел. Он был в таком бешенстве, что даже не хромал, выходя.

8

Она лежала на носилках, я сидел с одной стороны, врач с другой. Врач иногда вставал, что-то менял в положении аппаратов, приставленных к голове и телу, коротко говорил: «Пока без изменений», и это означало, что она жива, но может умереть в любую минуту. Несколько раз, поручив машину автоматам, выбирался из своей кабины пилот и осторожно подходил к носилкам. На его добродушном лице появлялась скорбь, он чуть не плакал, вглядываясь в Ирину. Пилот подружился с нами, с Ириной и со мной, когда доставлял нас с Базы на Ниобею, — выходил в салон из кабины, шутил, рассказывал забавные истории из своей пилотской практики. Он был доволен, что везет такого пассажира, как она, и не ограничивал себя в похвалах ее мужеству: для него решение женщины изучить бушующую недрами Ниобею и особенно ее жителей представлялось чуть ли не героическим поступком. Трагический финал так хорошо начавшегося путешествия терзал его, он все спрашивал врача, не лучше ли Ирине, и получал тот же ответ, что и я: «Пока без перемен».

А я молча смотрел на нее и думал о ней, и думал об Анне, даже, наверно, больше об Анне, чем об Ирине. Как странно совместилась судьба этих двух женщин с моей судьбой. Анна тяжко умирала от еще неведомой человечеству болезни, и я вот так же сидел у ее постели и спрашивал себя: «Почему она? Почему не я? Для чего такая несправедливость?» Она полетела на Эриннию, чтобы не разлучаться со мной, я выпрашивал для нее особого разрешения лететь, мужу ведь нельзя уходить в рейс с женой, вместе отпускают только на постоянное жительство на планете. Мы же летели в командировку, а не на поселение — и вот она погибает, а я, вытащивший ее на гибель, спокойно живу, буду и дальше жить. Нет, какая чудовищная несправедливость!.. Анна до последнего часа жизни сохраняла сознание, она понимала мое горе, она улыбнулась мне такой ласковой, такой горькой улыбкой, слабеющим движением протянула руку. Я сжал, крепко сжал ее пылающие жаром пальцы, я мучительно силился передать ей хоть крупицу, хоть каплю своей жизни, но не передал, это пока еще неисполнимо — обмениваться жизнями. Наша командировка кончалась, мы оба, если бы она не заболела, уже мчались бы на Землю... И, вглядываясь в нее, такую бесконечно исхудавшую, я уже знал, что не улечу, что у меня теперь одна цель в жизни — отомстить тем зловещим, тем загадочным силам, что отнимают у меня жену. Анна умерла. Я остался, чтобы побороться с проклятой планетой, чтобы навек истребить угрозу гибели, которой здесь встречали всякого пришельца леса и воды, воздух и почва. Эринния настигнет Эриннию, мщение покарает мстительницу, так я постоянно твердил себе каждый день в течение десяти лет жестокой схватки с тлетворным испарением планеты. Кто сейчас вспоминает на Эриннии о страшных днях, когда люди бледнели и задерживали дыхание, ступая на космодром, когда иные даже в герметически защищенной от местного воздуха гостинице не снимали скафандров, укладываясь спать? Не райское местечко, нет, но и не хуже других планет, вполне пригодна для жилья — рая в космосе, к сожалению, пока не нашли. Да, такая она сегодня, эта недавно столь грозная Эринния. Я отомстил ее зловещим силам — навсегда уничтожил их!

И вот вновь сижу у постели, на которой умирает молодая, еще день назад полная здоровья и жизнерадостности женщина, и эта женщина — не жена, даже не душевный друг — так же дорога мне, как и та, первая, моя жена. И я так же неизбывно виновен перед ней, второй, как и десять лет назад был виновен перед первой, — и эта, Ирина, послана мной на гибель. Нет, мне не предъявят формального обвинения, но совесть не знает формальных оправданий, совесть твердит: отказал бы ей в полете на Ниобею, и была бы жива, ты знал, какой риск стоит за твоим разрешением, но пренебрег риском. Собой ты вправе рисковать, но ты рисковал другим человеком, это непрощаемо! За Анну ты отомстил, благородно отомстил, все это признают, сам это о себе признаешь. Будешь ли мстить за Ирину? И кому мстить? Несчастным нибам? А чем они виноваты? Единственно виноватый — ты. Какой же местью покараешь себя?

Врач снова переставил датчики и указатели на теле Ирины.

— Изменений нет, — повторил он свое обычное.

С каждым новым сообщением, что изменений нет, его голос звучал мрачней.

Ниобея отдалена от Платеи по космическим меркам незначительно, пилот понимал, как важно прибыть на Базу поскорей, потом он говорил, что гнал на пределе. Но только на другой день мы опустились на космодроме.

И все эти долгие часы полета Ирина лежала неподвижная, бледная, с закрытыми глазами. Она дышала, но так слабо, что я не ощущал ее дыхания, лишь приборы регистрировали кислород, поглощаемый легкими. Я несколько раз дотрагивался до ее руки: рука, чуть теплая, еще жила, но жизнью, подошедшей к потусторонности. Однажды, не вынеся неподвижности Ирины, я спросил врача, нельзя ли привести ее в сознание? Он ответил:

— Опасно. Сознание потребует дополнительной энергии на себя. Результатом будет последующее ухудшение. Случаи такого рода часты.

Я тоже слышал, что тяжелобольные перед смертью нередко приходят на короткий срок в сознание, близкие видят в этом чуть ли не шаг к выздоровлению, а врачи, наоборот, — приближение агонии.

На космодроме нас ждали санитары. Ирину повезли в больницу. В машину, кроме двух врачей, местного и с Ниобеи, села Агнесса Плавицкая. Перед этим она подошла ко мне. Лицо ее кривилось, она еле удерживалась от слез.

— Какой ужас, господин Штилике! — восклицала она. — Такая молодая женщина! Что будет с нашим другом Джозефом? Он так любил свою жену. Мы все ее любили, господин Штилике, она того заслуживала.

— Где Виккерс? — спросил я.

— Он улетел на астероиды. Их такое множество вокруг Гармодия и Аристогитона, еще и трети не исследовано, это теперь главная работа Джозефа. Я послала радиограмму о несчастье с женой, он скоро прибудет.

— Вы так и сообщили — несчастье с женой?

— Нет, конечно же, нет! Осторожней: Ирина заболела, нужно ваше присутствие. Такой ужас, господин Штилике, такой ужас!

— Ваш шеф у себя? Мне нужно поговорить с Барнхаузом.

У нее изменилось лицо. Только что оно было полно скорби. Теперь в нем появилась вражда.

— Придется вам подождать. Барнхауз на Ниобее. Он вылетел туда сразу, как получил сообщение от Мальгрема о вашем чудовищном приказе. Как вам могло прийти в голову такое возмутительное решение? Мы будет протестовать!..

— О моем решении мы поговорим с Барнхаузом, а не с вами! — оборвал я ее, — Когда он вернется?

— Не раньше, чем завтра к вечеру. — Она демонстративно отвернулась и шагнула к машине.

После короткого отдыха в гостинице я пошел в больницу. Оба врача повторили все ту же формулу, которую я слышал весь полет: «Пока изменений нет». Я больше не мог терпеливо выслушивать это и потребовал точного растолкования. Врач Базы был категоричней ниобейского врача.

— Она умирает, друг Штилике. «Изменений нет» в данном случае означает, что угасание жизни продолжается неотвратимо.

— Неужели современное могущество медицины, ваши совершенные лекарства и методы...

Он прервал меня:

— Их хватает только на то, чтобы задержать умирание. За словами «изменений нет» стоит все могущество современной медицины. Не требуйте от нас чудес. Вы хотите к Миядзимо? Идемте вместе.

Врач первый прошел в палату. Изменений не было, он говорил правду. Ирина по-прежнему лежала на спине, бледная, с закрытыми глазами, с выпростанными поверх одеяла руками. «Третий день на спине, ни единого движения, ни единого взгляда, — думал я. — Третий день... Изменений нет — пока...»

— Уйдемте отсюда, Штилике, — шепотом велел врач.

Я позвонил в космопорт. Планетолет с Барнхаузом вернулся с Ниобеи, Барнхауз поехал к себе.

Я пошел в управление. Агнесса Плавицкая нервно ходила по приемной. Она встала передо мной, преграждая путь. Мне было не до шуток и иронии, и я не собирался ни шутить, ни иронизировать, но невольно сказал не так, как надо было:

— Ваш начальник не принимает посетителей, друг Агнесса?

Она вспыхнула. Золотые колокольчики в ее ушах зазвенели отчаянно и жалобно.

— Он ждет вас, господин Штилике. Но он нездоров. Он сильно отравился на Ниобее. Пожалейте его, господин Штилике. Даже если он... в общем, если что вам не понравится... все равно, не будьте к нему суровы. Молю вас, господин Штилике! Ему надо лечь в постель, а он захотел объясниться с вами.

И колокольчики Агнессы мелодично повторили ее мольбу. Я ничего не понимал. Она говорила возбужденным шепотом. И если бы она остановилась на своей непонятной просьбе, я, наверно, от одной растерянности пообещал бы выполнить все, что она пожелает. Но она добавила:

— Вы теперь должны быть мягче, господин Штилике. Вы так виноваты перед Джозефом и Питером-Клодом! Разве случилось бы это несчастье, если бы вы не разрешили Ирине полететь с вами? Вам так хотелось быть с ней, я понимаю, Ирина очаровательная женщина... Какой урок для всех нас, господин Штилике, эта трагедия на Ниобее. Но я прошу вас, от всей души прошу... Вы понимаете меня?

Это был перебор. Я еле сдерживал бешенство.

— Не понимаю! И, осмелюсь заметить, не нуждаюсь в вашем прощении, Агнесса. И буду вести себя так, как велит мой разум, а не вы.

Она отшатнулась от меня, как будто я ее ударил. Колокольчики зазвенели смятенно и громко.

— Ненавижу вас! — сказала она рыдающим шепотом, — Боже, как ненавижу вас!

— Агнесса, с кем вы шушукаетесь? — донесся из кабинета голос Барнхауза. — Когда же придет этот ваш любимец Штилике?

— Уже пришел, — сказал я, отворяя дверь.

Барнхауз восседал за своим просторным, как теннисный корт, столом — лохматый, краснощекий, широкогубый божок какого-то дикарского племени. Он возложил на стол могучие руки — пятипалые лопаты на длинных толстых черенках. Глаза его, слишком маленькие для такого обширного лица и отороченные воспаленными веками, тускло рдели. Мне показалось, что он напился.

— Не пьян, не пьян! — ответил он на мою невысказанную мысль, — Законов не нарушаю, можете мне поверить. И другим не позволю. Надышался сернистого газа. Мальгрем уговаривал не лезть на вулкан, а я полез. Люблю пламя. И сернистый газ люблю. Но перебрал. Два дня буду ходить осоловелый! Да, Штилике, беда у нас с вами. Погиб хороший человек. По нашей с вами вине погиб. Вы разрешили вести жертву на заклание, я предоставил транспортные средства... в смысле, планетолет, вы понимаете меня?

— Миядзимо еще не погибла, — сказал я. Мной опять овладевало бешенство.

— Погибнет, куда она денется! Смерть у нее в головах, в саване, машет косой, скверная старуха! Долго ли смогут ее отпугивать лекарствами и облучениями? Не делайте таких глаз, Штилике, нехорошо так выщериваться, поверьте мне. Я не столь воспитан, как Джозеф, у меня без изящества, но кое-какие правила хорошего тона вызубрил. Особенно с полномочными уполномоченными... Сочетание слов, Штилике! Люблю внушительные сочетания — не просто уполномоченный, а еще и полномочный... Еще бы чрезвычайного добавить, а? Как в старину — чрезвычайный и полномочный посол!..

— Хватит вздора! — прервал я его болтовню..

Он наслаждался моим нетерпением. Я вспомнил слова Теодора Раздорина: «Пьет с приятелями и закусывает ими». Я не был приятелем Барнхауза, но закусить мною он, кажется, намеревался. Отравление сернистым газом бывает похоже на алкогольное опьянение, я часто видел людей, на которых так действовали вулканические испарения.

— Какой же вздор, Штилике? Не болтовня, нет! Разве я осмелился бы?.. Уже говорил: я — это я, а вы — это вы. Разница! Ваша слава — это же великое звание, ваша слава, я же все понимаю, Штилике.

— Слава это не звание, а деяние, — сказал я, мне надо было что-то сказать.

Барнхауз ухватился за случайную подсказку. Он подстерегал момент, чтобы, забив мне предварительно голову болтовней, удобно повернуть дело.

— Великолепно сказано, Штилике, великолепно! И как верно! Слава — это деяние. Итак, поговорим о деяниях.

— Слов излишне много пока...

— Тоже верно — многословие! Все верно у вас, полномочный уполномоченный. Во все вы мигом воспроникаете! Я правильно выразился? А почему, Штилике? Безгрешность! Абсолютная беспорочность! Не шутите, не играете в азартные игры, своей жены нет, чужих жен не отбиваете, хоть временами и бросаете на погибель. В общем, совершенство. Величественная статуя самого себя!

Я встал. Если бы он сказал еще хоть одно слово, я ударил бы его. Он тоже поднялся. Барнхауз желал драки. Я глубоко вздохнул, это помогло сдержаться. Он понял, что перешел межу. Оскорблениями он уже не сыпал. И ерничания стало меньше.

— Сядьте, Штилике. Итак, мы остановились на деяниях. Я возмущен распоряжением эвакуировать Ниобею. Бесчеловечный и антигуманный приказ!

То, что он будет настаивать на продолжении работ на Ниобее, я заранее знал. И заранее готовился противодействовать его просьбам и доказательствам. Но что он объявит мое решение антигуманным, было неожиданно.

— Антигуманный приказ! — повторил он с глубокой убежденностью, — Вижу, вижу — потрясены! Потребуете обоснования?

— Не потребую, а попрошу, — вежливо поправил я. — Я ничего не могу от вас требовать, вы подчиняетесь Земле, а не мне. Я всегда помню, что вы — это вы, а я — это я.

— Моими словами заговорили, коллега? Напрасно, ваши авторитетней. Попробуй я не согласиться с вашими просьбами... нет, не с просьбами, с деловыми предложениями...

Мне все больше надоедала эта «говорня», так Теодор Раздорин называл пустое многословие некоторых студентов на экзаменах.

— Если вы считаете своей обязанностью соглашаться с моими предложениями, то о чем еще говорить?

— О вашей антигуманности, вот о чем. Итак, обоснование, которое вы ждете. Начну со своего деда, Рейнольда-Кларка Барнхауза, знаменитого создателя компании «Унион-Космос». Это был самый удивительный человек в мире, вы ничего о нем не знаете.

— Почему же? Кое-что знаю. Столько легенд ходило о нем! О его дворцах, яхтах, личном звездолете, о гаремах на Земле и на планетах, о противниках, которых он безжалостно сшибал со своей дороги.

— Было, было! Ничего не опровергну. Но еще другое было, чего не знаете, хоть и воспроникающий, как я вас справедливо назвал. Энтузиазм был, вот что было, Штилике. Энтузиазм, о котором вы и не подозревали и которого сами лишены. Великое стремление.

— Энтузиазм — какой? Стремление — к чему? К непрерывному обогащению? К накоплению дворцов, власти, все новых знаков почета?

— К служению человечеству, вот к чему, Штилике, я был ребенком, когда у этого поразительного человека, моего деда, уже не было того, о чем ходили легенды, как вы изволили выразиться: ни дворцов, ни яхт, ни гаремов, ни тысяч слуг. Все отобрали! Все ограбили... огосударствили, простите, по оплошке употребил любимое словечко деда. Но энтузиастом он был, энтузиастом остался. Разве вы не знаете, что после перехода компании «Унион-Космос» в руки государства дед не ушел в отставку, на пенсию, на «незаслуженный отдых», как многие, а нанялся в тот же им созданный «Унион-Космос» простым инженером?

— Не простым. Он был выдающийся космостроитель, ваш дед, этого никто не отрицает. И его инженерный талант еще сильней развернулся после огосударствления компании. Это я признаю за ним.

— Признаете? Вспомнили его инженерный талант? А я вспоминаю, как он усаживал меня на колени, гладил голову и говорил: «Питер, ты еще маленький, тебе пока играть и играть. А вырастешь, будет не до игр, будет дело. И поведешь ты свое дело с таким же запалом, как сегодня играешь, я верю в тебя, внучек. Веди свое дело так, чтобы люди оглядывались на улице и говорили один другому: „Вон Питер-Клод Барнхауз, великий человек, столько сделал хорошего, а ведь совсем молодой!“» Уважение и восхищение — вот чего нужно добиваться, так говорил мой дед, Штилике.

— И вы добивались?

— Да, Штилике. Тысячекратно — да! Хотите знать самую точную, самую правдивую формулу моей жизни? Служение человечеству! Вы протестуете?

— Не могу протестовать против того, в чем не разобрался.

— Многие выше оценивают ваш интеллект. Не поверят, что не разбираетесь в простых понятиях. Ладно, на минуту поверю, что отупели. Несчастье с женой Виккерса, засевшие в мозгах романтические теории вашего учителя Раздорина, всевластные полномочия... — факторы, не способствующие трезвому анализу обстановки...

— Между прочим, Виккерс тоже ученик Раздорина.

— Есть ученики, только идущие за учителями, и есть научившиеся выискивать собственные пути. Так вот, служение человечеству. Надеюсь, вы не будете отрицать, что оно прежде всего в том, чтобы узнать, в чем нуждается человечество — открыть само существование этих нужд, ибо их не всегда заранее знают. И сделать все, чтобы нужды эти, давно известные или только что открытые, были максимально удовлетворены. Возражаете?

— Нет. Правильная посылка.

— Тогда слушайте потрясающую новость! Впрочем, вы уже слышали о ней, уверен, но своим холодным, своим педантичным рассудком не уловили ее пылающего жара, ее гигантского стимулирующего толчка вперед, ее могучего катализирующего действия!..

— А попроще нельзя?

— Можно, Штилике. Только очень непросто излагать сложные вещи просто. Итак, чтобы попроще... Человечество встало перед новым промышленным скачком, перед новой технической революцией, и она будет грандиозней всех предшествующих. Но она немыслима без сверхтяжелых химических элементов. Их, эти сверхтяжелые элементы, создают в лабораториях — синтезируют по атому! То есть: мы знаем все предпосылки для новой промышленной революции, но создать их — непосильно. Близок локоть, да не укусишь! Вы астросоциолог, Штилике, вы и отдаленно не представляете себе, какие возникли исполинские возможности для совершенствования и какие исполинские трудности мешают этому совершенствованию.

— Почему же не представляю, да еще отдаленно? Кое-что знаю. Сейчас вы объявите мне, что Ниобея — то самое местечко, где можно практически реализовать высчитанные возможности.

Барнхауз закричал не сдерживаясь, его острый голос, так не гармонировавший с массивным телом, дошел до визга:

— Нет, не представляете себе, Штилике, нет и еще раз нет! Слушайте меня, тысячами ушей слушайте, всеми мозговыми извилинами резонируйте! Так вот, Ниобея — единственный в космосе кладезь величайших редкостей. Ибо здешние руды содержат сверхтяжелые элементы, не радиоактивные, не спонтанно распадающиеся, нет, стабильные — номера в таблице Менделеева: сто десятый, сто четырнадцатый, сто тридцать второй и еще с десяток номеров, — и не отдельными атомами, не граммами, даже не тоннами — миллионами тонн! И редчайшие изотопы уже известных элементов — тоже миллионы тонн. Голова кружится! Сердце замирает — такие богатства! Все будущее промышленное развитие человечества, как на фундамент, обопрется на эту маленькую, вулканизирующую, удивительнейшую из всех планет! А вы приказываете закрыть все разработки, всякую разведку на ней! Как это понять? Как это вытерпеть! Так хладнокровно, так безответственно поставить крест на величайшей возможности человеческого благоденствия!

— И на вашей личной карьере тоже? — холодно уточнил я.

Я знал, что он взорвется, — и он взорвался. Но я недооценил его, Барнхауз был сложней, чем в те дни виделось мне. Он вскочил и орал:

— Да, и на моей карьере, не отрицаю! Я честолюбив, я дьявольски честолюбив! Это преступление? Вы не меньше моего честолюбивы, только скрываете, а я не таю свои цели, свои желания, великое стремление, завещанное мне дедом! Как вы скромно, как намеренно скромно носите свой нимб великого астросоциолога, устраивающего на разных поганеньких планетах приемлемые условия существования! Слава ваша шествует впереди вас, она предваряет вас, никакое она не деяние, просто звание, ореол, предварительное извещение о вашем торжественном явлении, деяние следует потом! Как мы с Джозефом растерялись, узнав о вашем полете к нам, еще не было никаких деяний, а мы сжимались, ожидая вас, вот что она значит, ваша слава! Это ли не результат честолюбия?

Я спокойно напомнил:

— Мы все же говорим о вашем честолюбии, а не о моем. Вы снова упомянули о великом стремлении вашего деда. Оно имеет отношение к вашей карьере?

Барнхауз помолчал, собираясь с мыслями. Он был явно не в себе.

— Моя карьера! — сказал он горько. — Мои великие стремления!.. Быть благодетелем человечества — вот мое великое стремление. Вам этого не понять, Штилике, у вас иное честолюбие. Вы довольствуетесь благоустройством глухих уголков вселенной, мне этого мало. Плевать я хотел на Ниобею, на ее ничтожных каннибалов. Но она может стать плацдармом для прыжка вперед всего человечества! Хотите знать? Я первый, когда еще не знали о богатствах здешних недр, предугадал грядущее их значение. Я не был послан сюда в случайную командировку, как вы, я стремился сюда, я требовал, чтобы меня сюда направили, я доказывал, что только я, один я, лучше всех я гожусь для освоения Ниобеи. Доказал, освоил!.. Ваш запрет — не только конец моей служебной карьеры, это выстрел в мое сердце, растоптанная моя душа!..

Я молчал. Он хмуро глядел на стол, потом сказал:

— Штилике, молю, отмените свой запрет! Неужели вы и вправду не понимаете, какая потеря для Земли отказ от этой планеты?

Во мне хаотично проносились мысли и картины. Я с усилием показывал спокойствие, но спокойствия не было. Почти с болью я понимал, как много правды в каждом слове Барнхауза, и отвергать ее я не мог, ибо правда неотвергаема. Но была и другая правда, более высокая. Так странно сложились обстоятельства, что две правды родились одновременно из одного события, как естественные его следствия, и одна противоборствовала с другой. Я противопоставил более высокую, сильнейшую правду правде слабейшей.

— Вы правы, Барнхауз, — сказал я, — Все, что вы сказали о благоденствии человечества, справедливо. И ваше честолюбивое стремление помочь этому благоденствию вызывает уважение. Можете мне поверить, это искренне. Но какую цену заплатить за поспешно создаваемое благоденствие, за лихорадочно ускоряемый промышленный переворот? Гибель маленького народа — вот цена. Слишком высокая, безжалостно высокая цена, Питер Барнхауз.

Ему показалось, что появилась хорошая возможность продолжить спор. Он воскликнул:

— Нет, Штилике! Нет этой цены, вы ее придумываете. Кто осмеливается говорить об уничтожении этого народа? Не я, во всяком случае. Не Виккерс. Переместить нибов из одного места обитания в другое место — и исчерпана проблема. И там, в заповеднике, подальше от промышленных разработок, создадим им такие условия жизни, о которых им самим и не мечталось. Расцвет, а не уничтожение — вот что мы предлагаем!

— Уничтожение! — повторил я, — Не камуфлируйте хорошими словами скверные дела, Барнхауз. Общество нибов на краю существования. Их так мало, что еще какие-то небольшие потери — а потери неизбежны при любом переселении, — и кончено, популяция покатится неудержимо вниз. Помните, как на Земле погибали животные? Не надо было всех перелавливать и перестреливать. Довели до какого-то количества, ниже жизнеспособного минимума, и железные законы вырождения сами довершили остальное. Раньше мы этого не понимали, теперь знаем и понимаем. Барнхауз! Вы служите человечеству, создавая для людей еще неведомые технические усовершенствования, предоставляя им еще неиспробованные бытовые удобства. Но человеку свойственно щадить другие живые существа, поступаться ради их благополучия, ради их жизни собственными удобствами и достатком. Я тоже служу человечеству, Барнхауз. Самому высокому, что есть в человеке, — человечности. И пока я имею хоть немного власти, оттеснения в резервации несчастного народа Ниобеи не будет!

Барнхауз вдруг заплакал. Он слишком наглотался вулканических газов, слишком много нервов потратил на наш спор. Лицо его исказила страдальческая гримаса, он вытирал ладонью слезы, тоненько всхлипывал. Всего я мог ожидать от него в тот момент — и грубой брани, и оскорблений, даже рукоприкладства, — только не слез. Я молча глядел, не зная, что сказать и надо ли что-нибудь говорить.

— Ладно, — произнес он, размазав остаток слез по щекам. — Поговорили... Простите меня, Штилике... Не сдержался. Больше не будет.

В кабинет без стука вошла Агнесса. Она направилась к Барнхаузу, даже не взглянув на меня. Вместо мелодичного и нежного пения ее колокольчики издавали гневный перезвон. Агнесса, конечно, опять слышала все, что мы говорили.

— Какой стыд, Питер! — глухо выговорила она, подойдя к столу. — Так распускаться! И перед кем? Возьмите себя немедленно в руки! Вам надо лечь в постель, принять лекарства...

Он опустил лицо под ее пронизывающим взглядом. Массивный «медведь среднего роста», как его иронически именовал Раздорин, выглядел очень плохо. И хотя я знал, что ни при каких обстоятельствах не уступлю настояниям Барнхауза, мне стало жаль его — и оттого, что он встретился с моим категорическим противодействием, и оттого, что таким растерянным и подавленным его увидела красивая и недобрая помощница. Он заслуживал лучшей участи, чем столкнуться со мной, так я почувствовал тогда, так чувствую и теперь.

— Уже успокоился, Агнесса, — сказал Барнхауз, силясь улыбнуться. — Агнесса, прошу вас...

Но если он объявлял себя успокоившимся, то его воинственно настроенная секретарша успокаиваться не желала.

— Не просите, не уйду! — отрезала она и повернулась ко мне. Ее глаза палили меня. Она взмахнула головой, колокольцы залились тонким негодующим звоном. — Так жалко держать себя! И перед кем, снова спрашиваю? Перед сухим чинушей, перед бездушным космическим бюрократом, перед высокомерным вельможей, которому плевать на наши труды, наши усилия, наши великие цели, наши радостные мечты! Вот перед кем вы потеряли лицо, Питер, никогда не прощу вам! И еще добавлю, последнее, самое страшное — перед убийцей нашего друга!

Я чувствовал, что побледнел. Все оскорбления теряли силу перед последним обвинением. Я с трудом выговорил:

— Ирина умерла?

Выражение, появившееся на лице Агнессы Плавицкой, я не могу назвать иначе, как зловещим.

— А вы надеетесь, что не будет мук совести за ее гибель? Не надейтесь! Только что сообщили из больницы, что жизни Ирине Миядзимо осталось час или два.

Я хотел выйти. Агнесса преградила мне путь, как недавно в приемной перед разговором с Барнхаузом.

— Не торопитесь, господин Штилике! Ваш разговор с Барнхаузом не закончен. Питер, скажите господину уполномоченному о депеше, которую я сегодня утром отправила на Землю.

Он заколебался.

— Агнесса, ответа пока нет, зачем заранее расписывать?

Она оборвала его. Эта женщина, следовало признать, была не только чертовски красноречива, не только яростна в своих симпатиях и антипатиях, но при всей страстности характера гораздо организованней Барнхауза. Еще до того, как она заговорила от имени их обоих, я понял, что Питера Барнхауза и Агнессу Плавицкую объединяют не одни лишь служебные связи.

— Вы трусите, Питер! — бросила она, — И позволяете ему уйти победителем, а никакой он пока не победитель. Я сделаю то, на что вы не решаетесь. Мы, Штилике, — она подчеркнула голосом это «мы», и громкий перезвон колокольцев утвердил ее слова, — сегодня отправили рапорт на Землю с требованием лишить вас всех полномочий и отозвать с Ниобеи. Можете быть уверены, ваши действия охарактеризованы со всей объективностью как недопустимые, вредные и противоречащие всем программам освоения Ниобеи.

Пока Агнесса говорила все это, главный администратор Космической Базы был безгласен, растерянно опустив голову. Все-таки тяжко мужчине показывать другому мужчине, что он попал под женский каблук. Я сказал сколько мог спокойней:

— Очень жаль, Барнхауз, что вы не начали нашей беседы с этой депеши. Было бы поменьше социальной философии в нашем споре и побольше организационных проблем. Скажу от души: желаю вам полного неуспеха в ваших просьбах к Земле. И, в отличие от вас, не буду скрывать, что сегодня же тоже направлю на Землю депешу, где изложу свое понимание дел на Ниобее.

— Потребуете отстранения Барнхауза? — спросила она с вызовом.

— Нет, почему же? Ваш шеф — отличный администратор. Наверно, не слабей своего знаменитого деда, о котором сегодня столько вспоминалось. Энергия и деловитость в крови у Барнхаузов, я это учитываю. Даже вашего удаления не попрошу, Агнесса, хотя и мог бы, причин для этого достаточно!

Я вышел. Надо было спешить в больницу.

9

В больнице к Ирине меня не пустили.

— Ирина Миядзимо умерла, — сказал в приемной врач. — В палате только что прилетевший Джозеф Виккерс. Я считал нужным вас встретить и предупредить. Конечно, если вы пожелаете...

— Не пожелаю, — сказал я. — С Виккерсом я встречусь позже. Спасибо за предупреждение.

Теперь надо было идти на станцию космической связи. Я известил Землю, что общего языка с Барнхаузом не нашел, и попросил для себя чрезвычайных полномочий. Вспомнив, как Барнхауз издевался над старинным званием «чрезвычайный и полномочный посол», я пожал плечами. В старых речениях, даже на слух странных, было много пригодного и для нашего времени. После этого я вернулся в гостиницу и, не зажигая света, сел в кресло. Мысли свои следовало привести в порядок.

Гармодий с Аристогитоном закатывались, в окнах темнело. Нигде в космосе нет таких красивых закатов, как на Платее и Ниобее. Небо пылало тысячью разнокрасочных пожаров. Я вяло вглядывался в мистерию заката и думал о Барнхаузе и его подруге. Послать депешу на Землю придумала Агнесса, он подчинился ее настоянию. Вот же проницательная женщина: ни единой секунды не верила, что со мной удастся соглашение, и тайно нанесла предупредительный удар! А Барнхауз верил, что сумеет меня переубедить. Иронизировал, ерничал, пускался в философские отвлеченности — старался зажечь мою холодную душу, они ведь оба видят ее холодной и бесчувственной. А когда не вышло, расплакался по-ребячьи. Еще недавно, при наших с ним, в общем-то, мирных отношениях, и он мне не нравился, и она еще больше не нравилась. А сейчас оба пошли стеной против меня, и я начинаю им даже в чем-то симпатизировать. Как она просила быть помягче с ним, как умоляюще подрагивали ее колокольчики! И ненавидела, и умоляла, и оскорбляла, и унижалась — все сразу. Любовь, конечно. Нет, любовь не для таких местечек, как Ниобея. Чудовищно неделовое, абсолютно несправедливое чувство! Кто-то вдруг становится важней всех людей, чуть ли не единственным в мире, а чем он лучше миллиардов других? Для возвеличивания одного способна губить целые народы — вот что такое любовь!

«Неделовое», «несправедливое», «необъективное», с горечью думал я. «Не для таких местечек, как Ниобея!» А сам ты? Или не влюбился? Или все, что делал на этих двух планетах, не шло' под знаком несправедливого и неделового чувства? Сучок в чужом глазу разглядел, а как с бревном в собственном? Вот скоро к тебе придет муж женщины, в которую ты так глупо, так горько влюбился. Что скажешь ему, сухой чинуша, бездушный космический бюрократ, высокомерный вельможа? Что вдруг потерял голову, стал необъективен, несправедлив, пристрастен, и от таких неделовых чувств погибла молодая женщина, его любимая женщина, столь дорогая и тебе?.. Осмелишься ли на признание? Найдешь в себе силы на честный ответ?

Виккерс пришел, когда закат отпылал и снаружи стало темно. Он отворил дверь и сказал в темноту:

— Штилике, вы здесь?

— Входите, Виккерс, — сказал я. — Сами зажгите свет.

Он зажег свет и сел против меня. Он был страшен. За несколько дней, что мы не виделись, он постарел лет на десять. Некоторое время мы молчали, потом он сказал:

— Она так и не пришла в сознание перед смертью.

— Она не пришла в сознание, — повторил я бесстрастно.

Мы еще помолчали.

— Ничего не выйдет, Штилике, — сказал он с болью. — У вас не получится спокойствия, хоть и силитесь быть спокойным.

— Нет, почему же? — сказал я неопределенно. Я хотел, но не мог сказать что-либо ясней. Я не знал, зачем он пришел ко мне.

— Я хотел вас убить, — сказал он, — Я тешил себя этой мыслью: надо, очень надо отомстить вам за гибель Ирины. Но вот гляжу на вас и понимаю: не смогу вынуть оружие. Взял с собой пистолет, но... не могу.

— Выше ваших сил стать убийцей?

— Глупости, Штилике! И рука не дрогнет, если захочу убить. Не хочу — потому и не могу. Посмотрел на вас и понял: какая это месть — убить? Оставить вам жизнь — это месть! Посмотрите на себя в зеркало, Штилике, вы за одну неделю так переменились... Вы сами мстите себе — это горше, чем пуля в сердце.

— Зачем вы пришли ко мне, Виккерс? Произошла трагедия, не будем разжижать ее жалкими словами.

— Штилике, ненавижу вас! — У него задрожал голос. — Всей душой ненавижу. Но вижу и ваше горе. И знаю, что оно не меньше моего. Вы любили Ирину.

— Я не давал вам повода...

— Не лгите! Вы влюбились в Ирину в тот самый час, когда я привел ее к вам. Я это увидел тогда по вашему лицу, услышал в голосе.

— Повторяю, я ничем не выдавал себя.

— Не выдавали, верно. Но, значит, было что выдавать? Этим одним вы выдаете себя. Штилике, я сам влюбился в Ирину с первой встречи, с первого взгляда, с первого слова, сразу и навсегда. Мне ли не понять, что и с другим это может произойти?

— Я чист перед вами, Джозеф.

Он горько покривился.

— Знаю, все знаю. Ирина перед отлетом на Ниобею сказала, что вы полная энциклопедия всех предписанных добродетелей. Даже страшно быть рядом с таким безгрешным, так она сказала. Но видите ли, Штилике, ее покоряло все удивительное. А что удивительней, чем нестарый мужчина с ангельскими крылышками на плечах и с громкой славой звездопокорителя? Я ревновал вас, Штилике. Я боялся потерять Ирину. И потерял ее. И вы виновны в том, что ее нет ни для меня, ни для нее самой, ни даже для вас.

— Трагичные обстоятельства...

— Обстоятельства были подвластны вам. Я разговаривал с Мальгремом. Вероятно, ему ампутируют ногу, левая рука тоже не скоро поправится. Но сознание у него не ампутировано. И он рассказал, как уговаривал и Ирину, и вас, чтобы она не ходила на мерзкое пиршество каннибалов. Вы могли запретить ей, но не захотели.

— Я не оправдываюсь, Джозеф.

— У вас нет оправданий! И если я не убиваю вас, то лишь потому, что сознание своей вины вам горше, чем расставание с жизнью. Вам предстоят мучения, куда тяжелей обычной смерти. Я жалею вас, Штилике, что назначаю вам такую безмерную кару, хоть вы и не поймете моей жалости, такие чувства вам неведомы.

Я не выдержал:

— Чего вы хотите, Виккерс? Давайте кончим нашу странную беседу.

— Мы только начинаем ее, Штилике. — В его глазах загорелся злой огонь. — Совершено злодеяние, надо мстить. Или вам и такое человеческое чувство незнакомо?

— Вы только что сказали, что отказываетесь от мести.

— От мести вам! Ибо вы и без моей мести неизбывно наказаны.

— Вы хотите мстить бедным нибам?

— Не бедным, а подлым! Хоть на час станьте обыкновенным человеком, вы же не статуя святого, вы же пока живой. Взываю к вашей чести! К вашей любви к Ирине, наконец!

Он уже не говорил, а кричал. Я приказал себе соблюдать сдержанность.

— Как же вы собираетесь мстить, Джозеф? Разыщете, кто из нибов напал на нас, и устроите космический показательный процесс?

Виккерс в бешенстве топнул ногой, на губах вскипела пена. Он размахивал руками и наступал на меня.

— Истребить всех! Земля запретила являться вооруженными к аборигенам планет. Но для каждого правила есть исключения. Лететь с оружием на Ниобею и пустить оружие в дело! Потом можете арестовать меня, Штилике, но сейчас не мешайте. Молю вас вашим чувством к Ирине — не мешайте мне отплатить за ее гибель!

Он выкричался и умолк. Вряд ли он хорошо помнил, что в неистовстве наговорил. Но намерение его было ясно. Я сказал:

— Я арестую вас раньше, чем вы отправитесь на Ниобею. Пока у меня в руках власть, я не дам вам воли на преступление.

Виккерс быстро пришел в себя. У этого человека бешенство редко бывало горячим, он чаще леденел, впадая в исступление. Только что он кричал и судорожно дергал руками. Теперь каждым размеренным словом веско подчеркивал угрозу:

— Доктор Штилике, не становитесь у меня на дороге. Это опасно, поверьте. За смерть Ирины я вас уже простил. А что до дальнейшего, то предупреждаю: и рука не дрогнет, если появится нужда...

Он быстро повернулся и ушел. Я не успел ничего ему сказать вдогонку. Да и не хотел что-либо говорить. Виккерса надо было вывести из тяжелого состояния. Косморазведчик, потерявший душевное равновесие, непригоден на дальних планетах. Но он впал в ярость, любое мое слово могло лишь усилить неистовство. Завтра, послезавтра, думал я, отправят тело Ирины на Землю, будет еще время встретиться, что-то по-доброму решить. «Завтра, послезавтра...» Я постепенно цепенел от душевной усталости, все мысли выветривались из головы. Так и заснул, не выбираясь из кресла.

Утром Ирину укладывали в саркофаг с консервирующим газом, чтобы нетленным доставить тело на Землю. В прозрачном саркофаге она выглядела красивей, чем в жизни, я долго не мог оторвать от нее глаз. И как десять лет назад, когда умирала Анна, я с горечью думал о том, как несправедлива судьба: лучшее, что мне было начертано в программе жизни, я уже выполнил, а ей бы жить и жить. Нет, выбрали ее, а не меня! Непереносимо, чудовищно несправедливы были эти две смерти, две скорбные вехи в моей жизни.

В морг вошел Виккерс, холодно поклонился. Я смотрел, прошла ли ярость. Он не пожелал встретиться взглядами — глядел на одну Ирину. Ярости нет, ожесточение не прошло, думал я, уходя из морга. Потом заперся в номере и два дня никуда не выбирался. Даже на звездолеторемонтные и механические заводы — я на них еще не бывал — идти не хотелось. Вокруг меня на Платее густела атмосфера вражды, я не имел противогаза против носящегося в воздухе яда. Мальгрем эвакуировал Ниобею, его работники — геологи, шахтеры, строители, охрана — заполнили поселок. Видеть их мрачные физиономии было выше моих сил.

С очередным звездолетом Ирину отправили на Землю. Я не пошел на печальные проводы. Не помню, как провел этот день. Знаю лишь, что был день, и была ночь, и настало утро. Утром на стене засветился экран. Это был Барнхауз. Он всматривался в меня, словно сомневался, я ли это. Я раздраженно сказал:

— Что еще? Я не просил вас...

— Вы здоровы, Штилике? — ответил он вопросом на вопрос.

— Вполне.

— Тогда разрешите прийти к вам. Важное сообщение.

Не люблю принимать у себя таких, как Питер Барнхауз, в своем доме не всякому скажешь: «Довольно, уходите». А если сам в гостях, в любую минуту можно удалиться. Я сказал:

— Иду к вам.

Агнессы Плавицкой в приемной не было. Барнхауз нервно прохаживался по обширному, как старый городской дворик, кабинету. Думаю, скорее его, а не меня надо было спрашивать о здоровье — так он сдал за несколько дней. Но следов отравления уже не было видно. Я сел в кресло и молча ждал, что он скажет.

— Важное сообщение с Земли, коллега Штилике, начал он. — Вы даже не представляете себе его важность!

— Почему же не представляю? Трижды важное — вот какое!

— Трижды важное? — удивился он, — Почему трижды?

— Теперь четырежды: вы ровно четыре раза помянули его важность. Не мямлите, Барнхауз, оглушайте!

Больше ничего не сказав, он протянул депешу. В ответ на его рапорт Земля извещала, что полностью согласна с его оценкой положения на Ниобее. Ему предписывалось всемерно расширять добычу руд, новые производства на Земле невозможны без сырья с Ниобеи. Всем его требованиям на материалы, механизмы и рабочую силу присваивался высший приоритет. Он может планировать значительное увеличение работ.

Я вернул Барнхаузу депешу и направился к двери. Он чуть ли не в испуге воскликнул:

— Штилике, вы куда?

— В гостиницу. Имеете возражение, Барнхауз?

— Позвольте, мы же ничего не обсудили! Депеша требует немедленных действий.

— Не вижу нужды что-либо обсуждать! — сказал я намеренно резко. — И если вам нужны действия, да еще немедленные, так действуйте. Но меня в ваши действия не впутывайте.

Только сейчас до него дошло, что я вовсе не склонен поднимать вверх руки. Он медленно проговорил:

— Насколько я понимаю... Вы не собираетесь принимать к исполнению директиву Земли?

— Запомните, Барнхауз, — отчеканил я, — Я принимаю к исполнению только то, что предписывается лично мне. Сообщение с Земли адресовано вам, обо мне в вашей депеше ни слова. Не так ли?

Ему все же не сразу раскрылась запутанность ситуации. Он размышлял, я почти физически ощущал, с каким усилием он катит мысли по своим мозговым извилинам. Агнесса Плавицкая схватывала все не в пример быстрей. Будь она с нами, она подсказала бы ему пути-выходы, сам Барнхауз до них не добирался. Он заговорил снова:

— Мне думалось так. Вы признаете, что новое предписание Земли отменяет ваш приказ об эвакуации Ниобеи. И завтра, в полном согласии с вами, я возвращаю обратно всех, прилетевших оттуда. Многие уже хотели вернуться на Землю тем звездолетом, что увез саркофаг Ирины Миядзимо, но я всех задержал. Я предчувствовал, что будет крутой поворот в событиях.

— Блестящая предусмотрительность! — насмешливо бросил я. — Вам ее не подсказали? Во всяком случае, не могу не оценить ее своевременности...

И на этот раз ирония не дошла до него. Главный администратор был сегодня невылазно туп. Он вслух рассуждал:

— Но ведь что получается, Штилике? Ведь ничего толкового не получается! Я имею распоряжение усилить горные разработки, а вы... Неужели и теперь настаиваете на своем! Но ведь одно несовместимо с другим — ваш приказ и эта депеша мне!

— Очень рад, что вы это поняли, Барнхауз! Я своего приказа не отменяю. Остальное — ваше дело. Можете поступать, как вам подсказывает совесть и выгода.

Барнхауз был по природе толковый космоадминистратор, но не мятежник. Бунт не импонировал его душе. Он привык отлично выполнять распоряжения, иногда сам предугадывал их. Но уничтожать основы — нет, это была не его стихия.

— Положеньице, — растерянно бормотал он. Даже его высокий и резкий голос, так не гармонирующий с массивным телом, вдруг переменился от огорчения: уже не дискант, а глухой баритон, почти бас, — Мне надо посоветоваться, Штилике, перед такой вы меня поставили дилеммой.

— Советуйтесь. Надеюсь, Плавицкая подскажет вам что-то путное.

Он безнадежно махнул рукой.

— Что она подскажет? У нее одна цель: чтобы мне было лучше. А что мне лучше? Надо бы посоветоваться с Виккерсом. Но он улетел.

— На Землю с саркофагом?

— Зачем на Землю? Разве вы не знаете? Он сказал, что поставил вас в известность. Иначе я не выдал бы ему планетолет. Джозеф хотел развеять горе, такое намерение. Он умчался на астероиды сегодня утром с Вильямом Петровым, это его пилот, они летают уже третий год.

— Идиот! — простонал я. — Нет, Барнхауз, это я о себе! У вас есть второй планетолет?

— Есть, конечно.

— Немедленно подготовьте. Я полечу за Виккерсом. Его надо вернуть, иначе большое несчастье!..

Мясистое лицо Барнхауза изобразило сомнение.

— Позвольте объяснить вам, вы не знаете обстановки... Там же сотни объектов, темные глыбы в космосе... Где будете искать Виккерса? Равнозначная проблема — иголка в стоге сена.

— Проблема совсем иного рода, Барнхауз! Я лечу на Ниобею. Виккерс вас обманул. Он отправился туда, а не на астероиды.

Значение поступка Виккерса дошло до Барнхауза сразу. Тут была его стихия — оперативно действовать. Он быстро сказал:

— Вызываю пилота. Машина будет через час.

Я собрал в гостинице нужные вещи и прибыл на космодром. Там уже ждали пилот и Барнхауз.

— Если что понадобится, радируйте, — сказал Барнхауз. — Подготовлю здесь партию верных людей и по первому вашему требованию пошлю вслед. Будьте осторожны, Виккерс в ярости страшен. Успеха, Штилике!

Впервые за наше знакомство я дружески пожал его руку.

С Базы до Ниобеи полета на скоростной машине около суток. Пилот, угрюмый мужчина средних лет, объяснил мне, что на маленьких машинах антигравитаторы работают не так надежно, как на звездолетах, но «сто земных ускорений» пошагают вполне, после часового разгона будем нестись с рейсовой скоростью три миллиона километров в час. Я попросил выжать из двигателя максимум, пояснив, что на Ниобею умчался за десять часов до нас человек, замысливший преступление, нужно нагнать его и обезвредить. Пилот обещал постараться. В полете я уснул, а когда проснулся, планетолет вели автоматы, приборы показывали скорость больше тысячи километров в секунду, пилот дремал. Когда до Ниобеи осталось около часа, я разбудил пилота. Он выверил курс и сказал, что посадит машину без оповещения: не стоит информировать преступника о погоне.

На посадочной площадке стоял точно такой же планетолет. К нам поспешил широкоплечий парень с добродушным лицом — пилот Вильям Петров, тот, что привез меня и Ирину на Ниобею, потом отвозил нас обратно, а сегодня доставил сюда Виккерса. На этого человека можно было положиться. Он спросил, давно ли мы с Базы, и удивился: ну и мчались, за двадцать часов добрались! У них не вышло такой прыти. Виккерс сердился, однако пришлось смириться. Двадцать шесть часов — вот такой получился рейс. Не рекорд, конечно, но тоже неплохо. Я быстро прикинул, что Виккерс опередил нас на четыре часа, и прервал словоохотливого пилота:

— Где Виккерс?

— Собрал, что ему требовалось, и ушел.

— Что собрал? Куда ушел?

— Проверил личное оружие, достал со склада взрывчатку и бухту каната. И ушел в заброшенный город. Объяснил, что пойдет вон по той дороге. Если случится встреча со взбунтовавшимися нибами, то подаст сигнал тревоги, и тогда мне бежать на помощь. До сигнала станцию не покидать. Он скоро вернется пополнить запас взрывчатки. Вот такие были распоряжения. Да что случилось?

Уже не было смысла что-либо скрывать, и я сказал обоим пилотам:

— Виккерс готовит нападение на нибов. Он мстит за жену. Взрывчатка ему понадобилась, чтобы уничтожить поселение нибов. Я пойду искать его. Если он вернется за взрывчаткой, схватите его.

— Чуть покажется, задержим! — заверил мой пилот. А пилот Виккерса, ошарашенный сообщением, только кивнул.

В том, что они исправно выполнят мой приказ, я не сомневался. Теперь предстояло главное: найти и обезвредить Виккерса. Он был на голову выше меня, гораздо сильней. Схватка один на один закончится его победой — это я понимал. И все же решил идти в одиночку. Ведь у меня было немалое преимущество: я знал, что Виккерс на Ниобее, он не знал, что я погнался за ним. И в жажде мести он, возможно, будет таиться от нибов, но не от людей — стало быть, я сумею подкрасться к нему незаметно, тем более что мне известно, куда он двинулся. Я проверил оружие и выскользнул за ограду.

Время шло к ниобейскому полудню, Гармодий с Аристогитоном ползли в зенит. Планета вела себя отвратительно: словно по приказу, пробудились все вулканы, со всех сторон гудело и грохотало, клубы пара и дыма взметывались над планетой. Воздух был полон пыли и серных запахов.

Уже вскоре я пожалел, что не захватил противогаз: глаза слезились, в горле першило, хотелось непрерывно чихать. Я начинал опасаться, что отравлюсь вулканическими газами, как Барнхауз.

Быстро пробежав пространство перед станцией, я углубился в лес. Здесь можно было идти спокойней. До покинутого города далеко, а поселения нибов — где-то около них бродит Виккерс — еще дальше. Тем не менее я старался не шуметь, хотя за гулом, грохотом и взрывами пропадали все прочие звуки.

Так я двигался с полчаса, а потом в тесноте кустов на меня что-то обрушилось, и я потерял сознание.

Не знаю, сколько времени я пробыл в беспамятстве. Когда очнулся, то увидел, что лежу на небольшой полянке, явно не на том месте, где упал. Я был связан: ноги опутаны витками каната, руки сдавлены такими же петлями. На камне сидел Виккерс и наблюдал за мной.

— Добрый день, доктор Штилике! — приветствовал он. — Впрочем, день не добрый, а плохой. Как вы себя чувствуете, дорогой друг? Мне не хотелось бы причинять вам неудобств сверх абсолютно необходимых.

— Немедленно развяжите меня! — Я сделал попытку если не подняться, то пошевелиться, но и это было трудно.

Виккерс надменно улыбнулся.

— Странное желание, доктор Штилике. Я подстерег и связал вас вовсе не для того, чтобы снять путы по первому вашему гневному окрику. Связанный вы мне больше нравитесь, чем свободный.

Он издевался, но голосом серьезным, даже доброжелательным. И внимательно наблюдал за мной не с намерением помешать мне высвободиться — он был уверен в крепости канатов, — просто хотел знать, примирюсь ли я с поражением. Он еще надеялся на какое-то соглашение. Я сказал:

— Вы выслеживали меня, Виккерс? Не очень благородно...

— Зато разумно. И что значит — выслеживал? По-моему, это вы пустились в погоню за мной, а не я за вами. Я опытный косморазведчик и заранее принял меры защиты против вашей агрессии.

— Моей агрессии? У вас диковинное представление о том, что такое агрессия, Виккерс. Я старался предотвратить преступление, а вы готовитесь его совершить. Вы и есть агрессор.

— Преступление — убийство моей жены. Она ни в чем не провинилась ни перед кем, а ее убили. Я мститель! — Он говорил с болью и страстью. — Не смейте называть месть агрессией. Я не позволю вам швыряться высокими понятиями, хоть вы и правительственный уполномоченный.

— Вы выбрали плохое место для юридических дискуссий. Распутайте меня, и мы поговорим о смысле высоких понятий.

— Не считайте меня дураком! Я уже доложил вам: связанный вы меня больше устраиваете, чем свободный.

— Вы говорили — нравлюсь, а не устраиваю. — Я снова сделал попытку освободиться, и снова ничего не вышло. Этот человек, косморазведчик Джозеф Виккерс, вязал веревечные узлы, как моряк на парусном флоте. — Чего вы от меня хотите?

— Того же, чего и вы от меня — обезвредить. Сделать так, чтобы вы не могли мне помешать. Я сказал пустомеле Барнхаузу, что вылетаю на астероиды, он не выдал бы мне планетолета на Ниобею. Но я ни минуты не сомневался, что вас не обмануть и что вы немедленно устремитесь за мной в погоню. Видите, как я высоко ценю вашу сообразительность, доктор Штилике, гораздо выше, чем вы мою. Но проницательность в последний момент вам отказала. Вы ведь решили, что, сжигаемый жаждой мести, я без промедления кинусь взрывать селения нибов, стрелять их как бешеных волков. И не задали себе вопроса, зачем я взял с собой бухту каната. А я больше всего боялся, что зададите себе именно такой вопрос. Вы бодро двинулись по моим следам, которые я же вам указал, сообщив Петрову, куда иду. А я залег в удобном местечке, оглушил вас, связал и перетащил на эту открытую полянку.

— Зачем?

— Здесь удобней разговаривать. Я вас вижу, вы меня видите, ветки не лезут в рот. Должен признаться, я не люблю тропических лесов, особенно в их ниобейском исполнении. Дубы и сосны моей родины — я родился в Уэльсе — мне больше по душе.

— Вы оглушили и связали меня, чтобы было удобней признаваться в любви к соснам?

— Еще раз одобряю вашу проницательность, нет, не для этого, вы правы. Вы будете здесь лежать, пока я не уничтожу основное поселение нибов. Вам интересно знать, как я это сделаю? Мальгрем рассказал, что вы были только в заброшенном городе, в новый же город он вас не повел, ему не хотелось пускать Ирину в это смрадное подземелье. А новый город — добрая сотня пещер, освещенных радиоактивными панелями, но с одним выходом наружу, одним-единственным выходом, мой добрый доктор Штилике! Я взорву скалу над входом и замурую всех поганцев, пусть задыхаются! И посторожу, не прибежит ли кто на взрыв, его уложу из пистолета. А когда никого в окрестностях не останется, возвращусь и освобожу вас. Если, конечно, до того вы не умрете от усталости, от злости, от высоконравственного негодования на такого злодея, как я.

— Вы не боитесь, что в ваше отсутствие я освобожусь от пут?

— Надеюсь, этого не будет. Я вязал узлы от души. Мне ужасно не хочется убивать вас, Штилике, а придется, если вы освободитесь сами. Не хочу брать лишнего греха на душу.

— Уничтожить целый народ, по-вашему, не брать на себя страшный грех?

— Народ уничтожить — да! Но где вы нашли народ? — Ярость исказила его красивое лицо, он снова впал в исступление, как недавно на Базе. — Вы бросаетесь словами, как шелухой, а слова — гири, слова должны бить по черепу, слова — это действия, Штилике! Я протестую против ваших прилизанных, ваших неискренних слов! Нет народа, не смейте применять к каннибалам этого высокого слова! Есть погибающая популяция обезьянообразных, вырождающееся, уже выродившееся отребье каннибалов, сборище отвратительных недоделышей природы, незадолго до неизбежной гибели превратившихся в расу преступников перед собой, перед людьми, перед своей планетой, перед всем миром. Вот кто они такие! Сумасшедших на Земле запирали в больницах, преступников сажали в тюрьмы. А как поступить с сумасшедшей и преступной расой? Я принял решение и не отступлю! Я знаю, вы потом арестуете меня, едва я разрежу ваши путы, вы повезете меня на Землю, будете там судить. Арестуйте, везите, судите, я готов! И на суде я с гордостью скажу: да, я тот самый Джозеф-Генри Виккерс, который совершил на Ниобее великий и справедливый акт, — очистил планету от покрывшей ее ублюдочной плесени!

— Подонок ты, — сказал я спокойно, — Жалкий червь, возомнивший себя Верховным Судией. Что ты знаешь об объективной справедливости природы? Ты живешь только для себя, только собой. Ты выучил одну мелкую, примитивную законность: что похоже на тебя — то красиво, что выгодно тебе — то морально, что невыгодно — то безнравственно. А вот та кривая ветка, высунувшаяся из расщелины скалы, по-своему совершенней тебя, ибо ты на такой высоте, при такой скудости питающих ее соков вообще бы не распустился. И следовательно, та ветка объективно — по справедливости самой природы, по гармонии ее внутренних законов — тысячекратно прекрасней тебя! Злость, а не доброта правит тобой! Не разум, а бессилие мысли, не способной понять, почему вырождается то или иное явление природы и что можно, что нужно сделать, чтобы превратить вырождение в расцвет. «Падающего — толкни!» — эту древнюю формулу зверства ты взял символом своего поведения. Неверие в свои силы, боязнь труда, узость кругозора — вот твоя натура. Джозеф-Генри Виккерс! Ты просто не способен никому помочь. Ты изменил нашему великому учителю Теодору Раздорину, думая, что ищешь собственные пути на высоту. Глупец, ты изменил, устрашившись высоты! Ты пустоцвет, Джозеф-Генри Виккерс. Ты начисто обделен даром творчества, ты нищий духом, слабый волей. Сколь же ты морально ниже тех, кого задумал уничтожить! Говорю тебе, ты жесток от трусости, ты преступник от недомыслия. Ты претишь человеческому естеству, ты першишь у меня в горле. Я неподвижен, поэтому наклонись ко мне — хочу плюнуть тебе в лицо!

Не знаю, как он справился с яростью, но он справился. Уже при первых моих словах он вытащил пистолет. Я чувствовал, что он не выстрелит, пока не выслушает до конца. Но не был уверен, что последнее слово к нему не станет вообще моим последним словом. И я приказал:

— Теперь стреляй, слизняк! Естественный ответ труса — импульс из лучевого пистолета, когда нет сил опровергнуть обвинения! Наберись же трусости убить меня, я жду!

Весь перекосившись, Виккерс стал прятать пистолет, рука дрожала, он тыкал дулом себе в бедро, а не в карман, потом прошептал обрывающимся голосом:

— Успею... Штилике. Смерть от вас не уйдет... Я связанных не убиваю. С людьми я веду честный бой.

— Тогда развяжи! И хоть ты много сильней, я первый брошусь на тебя. Ибо моими поступками правит смелость, а не трусость мысли, истинная честь, а не самообожание.

Он круто повернулся и кинулся в лес. С минуту я слышал шорох травы и треск веток под его ногами. Я в изнеможении закрыл глаза. В моей голове пробредали медленные, усталые мысли. Они были похожи на редкие белые облачка в сумрачной пустоте вечернего неба. Потом я услышал новые шумы и открыл глаза.

Из леса на поляну выходили нибы.

Они обложили меня широким кругом, рассматривали, не приближаясь вплотную, тихо и взволнованно гудели меж собой. Побаивались, это было ясно. Мне показалось, что они не знают, как поступить со мной. Я молчал, только следил за ними. У меня появилась надежда, что они насмотрятся и уйдут, не причиняя зла. Но один повелительно загудел, все обернулись к нему. Он простирал в мою сторону длинные руки. Гуд был ясен и без расшифровки: ниб приказывал поднять меня и унести. Меня схватили два десятка рук и подняли. Даже и для такой массы носильщиков я был тяжел: они спотыкались, кто-то упал, его заменил другой, я качался на их руках, как бревно на неспокойной воде.

Впереди шел тот ниб, что отдал распоряжение обо мне, за ним двигалась вся процессия. Меня, как удар копья, пронзила вдруг горькая мысль, что вот примчался на эту проклятую планету, чтобы вызволить их из беды, а они тащат меня куда-то на расправу, возможно, будут жарить и есть. Тут я вспомнил о двух пилотах, ожидающих на станции: может, им наскучило ожидание и кто-нибудь из них вышел на рекогносцировку в лес? Я набрал побольше воздуха в легкие и заорал. Мой крик ошеломил носильщиков, они в испуге выронили меня и кинулись кто куда. Лежа кричать было трудно, я замолчал. Нибы опять набросились и понесли, я опять закричал. Но они уже не оставили меня, а пытались прервать мой крик: один закрыл рукой мне рот, я укусил его за пальцы, он с визгом отдернул руку. Другой засунул в мой рот горсть листьев, я подавился криком. Теперь движение шло в полном молчании: я ожесточенно жевал листья, чтобы выплюнуть, но никак не мог освободить рот, а носильщики, сгибаясь под тяжестью, не переговаривались, только показывающий дорогу изредка гудел, но так тихо, что его слышали одни соседи.

Носильщики временами клали меня на почву, их тотчас сменяли другие — движение продолжалось без остановок на отдых. Мы направлялись наверх, к оставленному городу. Наконец мне удалось выплюнуть листья, я вздохнул поглубже и опять закричал. Кто-то проворно засунул в рот новую партию листьев, движение наверх возобновилось. В этот момент из леса вырвался Виккерс с пистолетом в руке.

— Штилике, я иду! — прокричал он, и пронзительный луч резанул по деревьям — на меня посыпались ветки.

Все нибы разбежались. Я с такой силой ударился о почву, что помутилось в глазах. Виккерс добежал до меня, кинулся развязывать узлы на руках и ногах, но, слишком туго затянутые, они не поддавались. Он в отчаянии выругался и вцепился в узел зубами. Я прошептал:

— Достаньте мой нож, он в нагрудном кармане.

Виккерс выхватил складной нож и стал резать узлы на ногах. Одну ногу удалось освободить быстро, но другой канат резался плохо. Мы находились на вершине одного из многочисленных в чащобе голых каменистых холмиков. Из леса доносился надрывный гуд. Вот и вторая нога свободна, я сделал попытку подняться, но затекшие ноги не держали. Виккерс подхватил меня, помог встать.

— Бежим, здесь мы слишком хорошие мишени для них. Я избавлю вас от веревок на руках в местечке поспокойней.

Он говорил это, подталкивая меня в спину. Я сделал несколько шагов и совсем ослабел. Виккерс уже не толкал, а тащил меня. Я охал и стонал, Виккерс дергался и ругался. Он дотащил меня до чащи и здесь сам свалился, но тут же вскочил и стал резать узлы на руках. Через минуту я шевелил освобожденными руками.

— Джозеф, до чего хорошо, когда руки действуют!

Виккерс, тяжело дышавший рядом, пробормотал:

— Не простил бы себе, если бы поганцы прикончили вас.

— Что вы сделали со взрывчаткой? Завалили вход в подземное поселение нибов?

Он вяло усмехнулся:

— Можете не тревожиться, подземелье не замуровано. Вы были правы, Штилике, я трус. Не хватило духу взорвать вход в пещеры. Я свалил взрывчатку неподалеку и размышлял, что делать. И не было ни одной толковой мысли: сидел и таращился на лес... И тут донесся ваш крик. Кажется, я успел вовремя.

— Надо убираться отсюда, — сказал я, — Если мы не дойдем к станции до темноты, нас прикончат. Да и сейчас здесь небезопасно.

Кровообращение в ногах восстановилось, ходил я уже хорошо, но бежать не мог, мы пошли напрямик через лес, стараясь не выбираться на холмы и полянки, где могли бы стать удобной мишенью. Нибы не нападали, но временами слышались их гуды. Я ругал себя, что не взял на станции дешифратор — может, удалось бы разъяснить нибам, что мы не собираемся причинить им зло. Впрочем, за короткое пребывание на Ниобее я не успел хорошо освоить этот довольно сложный аппарат. И я понимал, что нибы правомочны не поверить, наше поведение не могло показаться дружественным. Меня и Виккерса тревожили доносящиеся из леса гуды. Нибы крались вокруг: вероятно, выбирали место поудобней, чтобы напасть.

— Скоро стемнеет, — сказал Виккерс. — В темноте они нас перебьют. Давайте побежим, Штилике.

— Не могу, — сказал я. — Может, вам поспешить на станцию одному? Некоторое время я продержусь в каком-нибудь укрытии, а вы с двумя пилотами придете за мной.

Оставлять меня Виккерс не захотел. Мы продолжали тащиться через лес. Гуды нибов становились громче. Теперь они доносились со всех сторон, нибов прибывало. И все трудней дышалось — в воздухе густела пыль, разило серой. Почва временами вздрагивала. Позади нас вдруг разлилось сияние — забушевал новый кратер. Тяжкий грохот взрыва заглушил все звуки. Я зацепился ногой за ветку и упал. И словно в ответ на мое падение, в лесу разразились яростные вопли. Нибы надрывались: видно, подбадривали друг друга на нападение. Я сказал Виккерсу, что надо срочно найти убежище, иначе нам несдобровать.

Мы в это время пробирались мимо заброшенного поселка нибов. Виккерс предложил укрыться в одном из домиков-шатров. Когда мы подобрались к домику, многоголосый гуд превратился в бешеный рев: нибов явно разочаровало, что мы стали для них менее досягаемы.

— Пока можно не опасаться нападения, — устало сказал Виккерс. — Но не будем обольщаться, Штилике, они попытаются нас захватить. Буду стрелять в любую тень, которая появится у входа.

Нападение совершилось быстрей, чем мы ожидали, и не со стороны входа, а сверху. На крышу обрушились тяжкие удары, со свода посыпались пыль и осколки кладки. Крыша не выдержала и обвалилась, в отверстие стали падать кроваво-красные камни, целая груда их выросла посередине шатра. Непереносимый жар наполнил тесное пространство.

— Вот же бестии, — прошептал задыхающийся Виккерс. — Мальгрем говорил, что они умеют выуживать жар из кратеров, но нападать раскаленными камнями!.. Что делать, Штилике?

— Нападает взорвавшийся неподалеку вулкан, а не нибы, — сказал я. — И если он повторит нападение, нас изжарит в этом каменном склепе, как в печи. Бежать, и поскорей.

Мы выскочили наружу. На мне загорелся комбинезон, когда я прыгал через раскаленные камни, на Виккерсе тоже затлела одежда. Невидимые нибы встретили наше появление взрывом дикого гуда. Вулкан снова выбросил в воздух облако раскаленных камней, они посыпались вокруг, но, к счастью, ни один не попал в нас.

Мы кинулись в сторону от места, откуда летели камни. Нибы тоже удирали, гуды оборвались. Позади, над кратером, вздулось багровое сияние, лес пронзительно озарился. Уже не одни камни, но брызги и сгустки лавы проносились над лесом. Новый взрыв потряс почву, я не устоял на ногах. И пока, цепляясь руками за кусты, я пытался подняться, облако светящихся камней и лавы обрушилось на меня и засыпало ноги. Отчаянным рывком я вырвал себя из горнила, но встать и идти уже не мог. Бежавший впереди Виккерс остановился, рванулся назад, наклонился надо мной. И по ужасу в его глазах я понял, что ранен тяжело.

— Идите один, Джозеф, — сказал я. — Давайте рассуждать здраво...

— Плевал я на ваши здравые рассуждения! — огрызнулся он, я услышал отчаяние в его голосе. — До станции я вас дотащу.

Виккерс схватил меня и понес. Но нес он как-то странно — держал на руках голову и спину, и я понял: вероятно, у меня изранены и сожжены ноги. Я не видел своих ног, не хотел спрашивать, что с ними, только вяло думал: «За развороченные до костей ноги взяться нельзя, я теперь не человек, а обрубок человека, вот он и несет меня, как обрубок». И еще я думал — спокойными, холодными мыслями, — что нести меня не надо, он все равно не донесет, я по дороге умру, так зачем ему подвергать еще и себя опасности, вулкан ведь вот-вот исторгнет новую груду камней.

— Джозеф, — прошептал я. — Не надо...

— Дотащу! — хрипло крикнул он. — Все равно дотащу! Берегите дыхание, Штилике, на станции вам поможем. Молчите, слышите!

Я замолчал. В голове замутилось, все расплывалось перед глазами. «Умираю!» — подумалось мне. Сквозь расступившуюся на миг пелену я вдруг увидел огненный смерч, пронесшийся у моего лица, услышал надрывный вопль Виккерса. Внезапно почувствовал, что лежу на траве. Теперь я знал: меня никто не несет на руках, Виккерс, наверно, мертв, я тоже мертв, только почему-то ощущаю это запоздавшим погаснуть сознанием.

10

Проступило чье-то лицо, исчезло, слышались голоса, замолкали, снова слышались, пустой свет в глазах сменился пустой тьмой. Потом почудилось, что на меня смотрит Барнхауз, только лицо его расплывалось, колебалось, его раздувало и прессовало, но, меняя очертания и величину, оно было, и я заговорил с Бранхаузом:

— Где я?

Голоса своего я не услышал, зато ответ раздался в моих ушах отчетливо, и он прозвучал несомненным голосом Барнхауза:

— Вы на Базе, Штилике. Вас благополучно доставили сюда. Врачи делают все возможное, можете мне поверить.

У меня хватило сил на новый вопрос:

— Что с Виккерсом?

Голос Барнхауза странно отдалился, он звучал теперь, словно из другой вселенной, лицо главного администратора Базы пропало во тьме, тьма стала пустой и беззвучной. Но в мое гаснущее сознание проникло, что Виккерс рядом со мной, однако врачи не могут привести его в чувство. Спустя некоторое время снова высветилось. По комнате ходил врач, он что-то сказал, я не расслышал. Я скосил глаза: я лежал на кровати, на соседней лежал Виккерс, я увидел его ясно — он был бледен, глаза закрыты, руки недвижно покоились поверх простыни. Я снова ушел в пустую тьму.

Новое возвращение сознания было более четким. У кровати сидел Мальгрем с перевязанной левой рукой, к стулу он прислонил свой костыль. Врач держал мою ладонь, чем-то мазал пальцы. Я повернул голову: Виккерс по-прежнему лежал на соседней кровати и был по-прежнему бледный и неподвижный.

— Он жив? — прошептал я.

— Пока жив, — ответил врач, — Но состояние очень тяжелое.

— Могу я с ним говорить? — спросил Мальгрем и показал на меня глазами.

— Можете, — сказал врач.

Мальгрем сперва молча глядел на меня, потом нерешительно пожелал выздоровления. Хорошо помню, что я усмехнулся. Еще никто не разъяснял мне моего состояния, но я уже был уверен, что ног нет. Вместо ответа я вытянул руку и ощупал пальцами кровать. Под пальцами чувствовался только матрац — то, что осталось от моего тела, было короче, чем доставала протянутая рука. Мальгрем побагровел, тяжело задышал.

— Не будем говорить о здоровье, — сказал я. Вероятно, мне потребовалась целая минута, чтобы произнести эту фразу. И еще минута понадобилась, чтобы попросить Мальгрема: — Роберт, расскажите, как мы очутились на Базе.

— Вас принесли на станцию нибы, — сказал он. И это было единственное, что он сообщил в то первое наше свидание, у меня снова отказало сознание.

Теперь я приходил в себя чаще, оставался в сознании дольше. И почти всегда, открывая глаза, я находил у постели Мальгрема или Барнхауза. А на соседней кровати лежал Виккерс, все такой же бесчувственный, бледный, неподвижный. Пришел и пилот Петров, от него я узнал, как нас спасали. Оба они, он и второй пилот, очень встревожились, когда поблизости от станции взорвался новый вулкан, а ни я, ни Виккерс не возвращались. Уйти от станции не позволял мой запрет, они вышли наружу и прислушивались, не раздастся ли где наш крик. Уже к ночи из леса стали выходить нибы. Сперва появилась одна маленькая группка, они взволнованно гудели, показывали на лес, звали туда. Один из пилотов остался на станции, другой поспешил в лес. Нибы вели его в самую гущу деревьев: камни, выбрасываемые из кратера вулкана, в густом лесу были не так опасны, как на открытом месте. Вскоре пилот встретился с основной массой нибов, они несли на руках меня и Виккерса. Пилот, увидев в каком мы состоянии, бросился готовить машины к отлету. К тому времени, как нас принесли на станцию, оба планетолета были выведены на стартовую площадку. В одну машину погрузили меня, в другую Виккерса, оба мы не приходили в сознание. Нибы оставались на станции до отлета, волновались, гудели, бегали вокруг планетолетов...

— Мы с Виккерсом думали, что они готовят на нас нападение, — сказал я Мальгрему. — А они хотели нас спасти! Как мы ошибались в этом народе! Как ошибались!

— Народ удивительный, — согласился он. — У них выработалось предчувствие вулканических извержений. Вероятно, они хотели увести вас подальше от опасного места до того, как начнется извержение, а вы не поняли их. Теперь я думаю, что и станцию они в свое время заставили перенести, потому что предвидели извержение на ее прежнем месте.

В одну из ночей я услышал голос Виккерса. Он не открывал глаз, в сознание не пришел, но заговорил. Его томил бред, он бормотал, захлебываясь словами, всхлипывал, временами вскрикивал. Я вслушивался в его голос, старался понять, что наполняет его помраченный ум. Виккерс грезил прошлым, он заново переживал то, что давно уже стало смутным воспоминанием: и мальчишеские обиды, и провал на первом экзамене в космонавигаторы, и выбор пути после блестящей защиты диплома, и скоропалительное решение поступить космоэкспертом в компанию «Унион-Космос». Часто и горячо он повторял имя Ирины. Вся короткая их жизнь раскручивалась в его ярком бреду — слова, взгляды, дни разлук и встреч...

А когда, уставая от бреда, Виккерс замолкал, я думал о том, что мы скоро умрем и надо напоследок на чем-то самом важном сосредоточиться, что-то самое нужное выполнить. Я размышлял о нибах, о станции, о Базе, о Барнхаузе, о Мальгреме. Пробудившееся сознание диктовало новые планы и мысли, и я прикидывал, что принять, а что отбросить. Но прежде всего надо было добиться ясности о собственном состоянии.

— Поговорим откровенно, — предложил я врачу. — Не как больной с врачом, даже не как мужчина с мужчиной, а как астросоциолог с астробиологом. Мне нужно отдать важные распоряжения. Я знаю, что должен умереть. Люди, от которых осталась половина туловища, не вправе считать себя жильцами на этом свете.

— Мы делаем все, что можем, — сказал он осторожно. — У вас обширные ожоги на теле.

— На сохранившемся остатке тела, хотите вы сказать? Сколько дней осталось жить Виккерсу?

— Дня два-три, — ответил врач. — Тело, в общем, в хорошем состоянии, но мозг... Вы ведь знаете, что сожженные мозговые клетки регенерации не поддаются.

— Знаю. Итак, три дня. А мне? Только без утешений. Я не из тех, что ахают и распускают нервы. И отдаю себе отчет, что полусожженный человек не жилец на этом свете. Я уже говорил об этом.

— Не знаю, — сказал врач. — Поверьте, не притворяюсь. Вы демонстрируете возможности, которые отсутствуют у обычных людей.

Я через силу засмеялся. Мне казалось, что я понял, куда он клонит. Все же я уточнил:

— Понимаю вас так, что я уже должен был умереть в вашей палате?

— На Ниобее, — поправил он, — Еще на станции. А вы не умерли. И здесь живете. И сохраняете ясное сознание. Вашу жизнь поддерживает сейчас не наше лечение, а ваша собственная воля, мы лишь помогаем ей. Поэтому спрашивайте самого себя, сколько вы приказываете своему телу жить. Вы хотели честного ответа, это самый честный ответ.

— Хорошо, — сказал я. — Значит, с неделю еще проживу. На это у меня хватит душевных сил. Вызовите ко мне Барнхауза.

Барнхауз явился не один, а с Агнессой Плавицкой. Она вошла в палату первой, он шагал за ней, стараясь умерить грохот своих ножищ, чтобы не причинить мне беспокойство. Странно было видеть его массивную фигуру такой скованной. Зато мелодичный перезвон колокольчиков Агнессы заполнил всю палату, она волновалась и сильней обычного взмахивала головой. Я показал обоим на кресла и сказал:

— Между прочим, Агнесса, я звал одного Питера.

Она ответила лишь новой волной мелодичного колокольного перезвона, ее лицо огненно вспыхнуло, а он поспешно проговорил:

— Я просил жену сопровождать меня, так мне легче разговаривать.

— Жену, Барнхауз? Разве на Базе регистрируются браки? Я был уверен, что это прерогатива Земли.

— Мы женаты уже много лет, — сказал он. — Я скрыл это, когда нанимался на Базу. Была масса конкурентов, я опасался, что меня с женой не возьмут. На совместное проживание нужно ведь специальное разрешение, а все конкуренты были одинокие — немалое преимущество передо мной! Она прилетела потом самостоятельно и тоже не указала, что к мужу. Мы, впрочем, на Базе жили, как посторонние, в этом смысле правил не нарушали. Вы первый, кому признаемся в нашей тайне.

Он говорил, я смотрел на Агнессу. Она попеременно краснела и бледнела. Разок она перехватила мой настойчивый взгляд — впервые я не увидел в ее глазах вражды. И это изменение ее отношения не могло быть вызвано моим бедственным состоянием, вряд ли она горевала, что я скоро умру. Что-то иное, не просто желание сопровождать мужа да и не стремление проститься со мной, заставило ее явиться в палату. Поэтому я прямо сказал:

— У меня к вам дело, Барнхауз, но и у вас, по-моему, что-то есть ко мне. Я не ошибся? Начинайте первый.

Он заторопился:

— Не ошиблись, не ошиблись, Штилике. Получено новое предписание Земли. Адресовано лично вам, копия мне. Сами прочтете или прикажете зачитать?

Барнхауз подчеркнул голосом это «прикажете», и я понял, о чем может быть новое предписание. Я сделал знак, чтобы читал он. Читая депешу, главный администратор смешно старался сделать свой высокий голос пониже, но визги, против его воли, как пики на диаграммной кривой, прорывались в баритональном искусственном голосе.

Земля извещала, что отменяет все прежние распоряжения относительно Ниобеи. Меня наделяли единоличной властью на всех обитаемых объектах звездной системы Гармодия и Аристогитона. Все мои распоряжения подлежали немедленному и точному выполнению. Барнхаузу особо вменялось в обязанность неукоснительно следить за строгим осуществлением моих требований и пресекать всякие попытки неэнергичного их выполнения, тем более — игнорирования.

В общем, было именно то, чего я ждал в ответ на мою депешу Земле.

— Ты победил, галилеянин! — выспренне сказал Барнхауз и торопливо пояснил, чтобы я ненароком не обиделся: — Это, Штилике, цитата из одной старой книги, — я говорю о галилеянине.

— Знаю такую цитату, — кивнул я и, подумав, поинтересовался: — Земле уже известно, что произошло на Ниобее с Виккерсом и со мной?

— Конечно, Штилике. Мы немедленно отправили доклад о самоуправстве Виккерса и о вашей самоотверженной попытке предотвратить злодеяние. И я не скрыл своей оплошности... Говорю о предоставлении планетолета Виккерсу. Но новые указания Земли, которые я прочитал, отправлены еще до того, как им стало известно о несчастье с вами.

— Это меняет положение, Барнхауз. Когда меня не будет...

В наш разговор вдруг горячо ворвалась Агнесса Плавицкая:

— Это ничего не меняет, господин Штилике. Ровным счетом ничего! Останетесь ли вы на Базе или... — Она мигом поправилась, чтобы нетактичным выражением не раскрыть свое знание правды обо мне: — Или улетите на Землю... Но установленные вами правила относительно Ниобеи сохранятся на многие, многие годы. Изменений не будет.

— Я не улечу на Землю, — сказал я. — Меня доставят туда как почетный, но бесполезный груз. Но стратегия нашего отношения к Ниобее не изменится, вы правы. Изменения будут в том, что вместо меня назначат другого. Уверен, что это будете вы, Барнхауз. Я порекомендую Земле именно вас.

Он хотел что-то сказать, она опередила его:

— Нет, господин Штилике, тысячу раз нет! Не давайте Питеру рекомендации, сообщите, что он не годится на ваше место. Пусть поищут другого, только не его. Разрешите ему улететь на Землю. Я пришла с мужем для того, чтобы просить вас об этом.

Агнесса смотрела на меня своими необыкновенными глазами, и снова я не видел в них прежней вражды и зла, только просьбу, почти мольбу. Барнхауз молча подтверждал каждое ее слово кивком лохматой массивной головы. Я ничего не понимал.

— Питер-Клод Барнхауз был много лет главным администратором Базы, — сказал я, — И был отличным администратором, лучше не найти. Почему же он стал непригоден к той должности, которую так долго и так исправно выполнял? Отвечайте вы, Барнхауз, хочу слышать вас.

— Это же просто, Штилике, — сказал он. — Не существует больше той должности, которую я так долго и, надеюсь, хорошо выполнял. А к должности, созданной вашей директивой, я непригоден. Но если вы разрешите, об этом лучше меня скажет жена. Агнесса, объясни, что ты знаешь обо мне и моих высших стремлениях.

Она не объяснила мне ничего нового. Повторила лишь то, что недавно, надышавшись сернистого газа, он наговорил о себе. Но если Барнхауз, возвеличивая себя, старался при этом унизить меня, то она избегала любого слова, которое могло меня задеть. Эта женщина знала, когда как держаться. Я слушал и вспоминал, как она объяснялась мне в ненависти, как зло сверкали тогда ее глаза, как неистово звенели ее колокольчики. Да, жена Барнхауза умела бороться и умела с достоинством, не делая себя жалкой, переносить поражение.

— У каждого свое призвание, не так ли, господин Штилике? — говорила она. — Ваше — спасать гибнущие цивилизации, наводить порядок в обществах, впадающих в хаос. А Барнхауз — природный промышленник, бизнесмен, как называли его предков. Ну... не бизнесмен, естественно, но предприимчивость заложена в нем генетически. Консервация, охрана — понятия, ему чуждые. А что ныне делать здесь, кроме как охранять от внешних посягательств безмерно богатую, но наглухо законсервированную Ниобею? Дух предприимчивости, привнесенный Питером в этот звездный уголок, выветрился, он задохнется в такой бездуховной атмосфере!

Агнесса говорила долго и горячо, муж молчаливо поддакивал кивками и улыбками, вспыхивающими на широком мясистом лице. А я ее слушал вполуха, смотрел на обоих вполглаза — и думал о том, какими они были вне этой палаты, так сказать, для себя. И я видел и узнавал в них то, чего они, возможно, в себе не видели и чего, во всяком случае, не хотели бы показать посторонним. Насколько же они были разные и сами по себе, и в отношении друг к другу! Нет, он, конечно, любил ее, ради этой любви он и отважился нарушить строгие правила космической службы, вытребовав жену к себе, а ведь он не был ни бунтовщиком, ни лицемером, втайне преступающим то, что вслух восхваляет и требует ото всех. Но куда больше, чем ее, он любил себя, вернее образ себя, созданный своим воображением, лелеял его и тем непрерывно питал свое честолюбие. И если нанести удар по этому честолюбию, поколебать придуманный им образ, он сделается неприятным самому себе. Нынешнее его самообожание превратится в самоотвращение — наверно, надо сказать как-то корректней, но не подберу слова точней. Пожалуй, и вправду нечего этому человеку больше оставаться здесь.

А она, думал я, эта прекрасная «баба-яга», «королева на любом бесовском шабаше», какой рисовалась мне при первом знакомстве, — ведь она совсем иная, чем показывает себя другим. Нет в ней ничего необычного, тем паче бесовского. И вовсе она не ненавидела меня, как вообразилось мне и как сама была убеждена, она просто неспособна на настоящую ненависть. В ней только одно всю ее захватившее чувство — любовь к этому огромному, лохматому, длиннорукому детине, к этому «медведю средней руки», как удивительно точно его описал мой учитель Теодор Раздорин. И все остальные чувства этой женщины второстепенны и производны от того главного, всеопределяющего — любви к мужу, восхищения им, обожания его. Она лишь ответно ненавидит тех, кто противоборствует Барнхаузу, готова мигом преобразовать свою некрепкую ненависть в приязнь, как только ослабевает недоброжелательство к нему, — в ее душе слишком мало места для других людей, все заполнено им.

Агнесса почувствовала, что я перестал ее слушать, и замолчала. Я воспользовался этим.

— Ну, хорошо, — сказал я, — Допустим, я соглашусь с вашей просьбой. Но вы видите сами, в каком я состоянии. Кто заменит вас, Барнхауз, когда вы улетите, а я... в общем, когда остатки моего тела повезут на нашу дорогую прародину?

— Не надо так шутить! — воскликнула она. — Врачи еще не теряют надежды.

— Нельзя потерять то, чего нет, — возразил я, усмехнувшись. — Ни у них, ни у меня нет никаких надежд. Вы не отвечаете на мой вопрос, Барнхауз.

— Меня заменит Мальгрем, — произнес Барнхауз. — Я с ним говорил, Роберт согласен остаться. Нужно лишь ваше одобрение.

— Вызовите его ко мне, — сказал я и закрыл глаза.

Вероятно, я впал в забытье и не заметил, как они удалились.

Когда сознание вернулось, у моей постели сидел Мальгрем. У него был такой вид, словно он уже давно сидел тут и терпеливо ожидал, когда я приду в себя.

— Вы звали меня, Штилике? — спросил он.

— Звал. Барнхауз улетает на Землю. Он сказал, что вы согласны занять его место. Правда?

— Правда. Он спрашивал меня, я согласился.

— Почему, Роберт? Разве вас не привлекает Земля? Вы достаточно пострадали на Ниобее. Хороший отдых, первоклассное земное лечение и сама она, наша зеленая, наша прекрасная Земля... Вы заслужили своим трудом, своими несчастьями...

— Не надо, Штилике! — прервал меня Мальгрем. — Ваше красноречие всем известно, оно может и камень растрогать. Но на меня не тратьте его. Не обижайтесь, я твердо решил остаться здесь.

— Почему?

— Я люблю Ниобею, — сказал он просто. — Люблю ее великолепные леса, ее бушующие недра, где вы видели вулканы красочней и грозней? И ее жалких нибов по-своему люблю. Народ неплохой, только очень уж от нас отличный. И мне, скажу по чести, не так уж важно, будет ли разработка руд расширяться, или ее надолго прикроют. Ниобея не станет хуже от того, что я не выполню каких-то производственных программ. Я не делец, как Барнхауз.

— Земля отменила все производственные программы, вы знаете?

— Барнхауз сказал мне о новой депеше с Земли. Вы сомневатесь в моей пригодности, друг Василий?

Нет, сомнений у меня не было. Мальгрем не только был способен заменить Барнхауза, он был в новых условиях гораздо лучше Барнхауза. Я почти с благодарностью вспомнил, что, в отличие от Виккерса и Барнхауза, он никогда не ругал нибов, хотя они и препятствовали расширению его горных разработок. В этом потомке древних викингов — он так напоминал их внешностью — не было и следов человеческого высокомерия и пренебрежения ко всему, что ниже человека. Уверен, что он даже злых животных не обижал, а нибы были все же не животные. Он дрался с нибами, когда они напали на нас во время своего праздника, но я тоже дрался, в той битве виноваты были мы, так уж сложились обстоятельства. Я вполне мог положиться на Роберта Мальгрема.

— Можете считать себя вступившим в новую должность, Роберт. Мое положение вам понятно: я скоро отойду в те блаженные края, которых не было и нет. Запишите мои последние распоряжения и постарайтесь сообразовываться с ними. Считайте запись моим завещанием.

Он зафиксировал на пленке мои пожелания и советы. Возобновление промышленных работ на Ниобее я отменял до поры, когда физиологи откроют структуру таинственных витанибов, поддерживающих у нибов жизнедеятельность, а земная промышленность освоит производство этих пока неведомых биовеществ. Я указал, что природа пиобейского общества описывалась недопустимо поверхностно и первые взаимоотношения людей с нибами принесли много неудач. Продолжение таких взаимоотношений недостойно человека и опасно для нибов. Общество их подошло в своей многотысячелетней прогрессирующей деградации к краю существования, любое прикосновение извне, даже попытка непродуманной помощи, может стать толчком в пропасть. Никакие соображения экономической выгоды не могут играть решающего значения в планах дальнейшего освоения Ниобеи. Человечество ныне достаточно богато и могущественно, чтобы объявить в отношениях с иными цивилизациями примат нравственного достоинства, а выгоду экономическую счесть второстепенной и производной.

— Записано, — сказал Мальгрем. — Что дальше?

— Дальше... Идите командовать Базой. Я устал, Роберт.

Снова пришло забытье. Оно наступало периодически, малыми порциями. Это не был сон, форма нашего земного отдыха. Я не отдыхал, я замирал, даже температура понижалась, мне не требовалось глядеть на обложившие меня со всех сторон самописцы, чтобы знать, что холодею. Забытье, как мне теперь думается, было чем-то вроде короткой рабочей репетиции смерти. Я не пробуждался из забытья, а как бы возвращался в жизнь, и возвращался не освеженным, как после сна, а разбитым. Все сохранившееся в обрубке моего тела — кости, жилы, все сочленения и сосуды — ныло, заново начиная свою совместную трудную деятельность — жизнь.

В тот раз, после ухода Мальгрема, я возвратился из забытья до того болезненно, что даже вскрикнул, пробуждаясь. И меня охватило ощущение, что совершилось что-то чрезвычайное. Смешно теперь вспомнить, но я громко спросил себя: а жив ли я? Я был еще жив, чрезвычайность была в чем-то другом. Я приподнялся, опираясь на руки, осмотрелся. Соседняя кровать была пуста. Виккерса унесли.

Не понимаю сейчас, почему — ведь я знал, что Виккерс со дня на день умрет, так и не приходя в сознание, — но вид пустой кровати заставил меня задрожать. Вероятно, я просто привык, что на соседней кровати лежит он, неподвижный, безгласный, но живой. Я верил, конечно, самописцам, показывающим, что запасы энергии жизни у него и у меня неодинаковы, это же твердили и врачи. Но про себя каким-то безотчетным ощущением я выровнял его жизнь со своей, граница отпущенного ему существования была и моей жизненной границей. Я вызвал врача.

Он явился не один, а с Мальгремом.

— Виккерс умер? — спросил я.

— И да, и нет, — ответил врач. — Мозг погиб, тело еще живет. Мы подключили тело к нашему компьютеру, простые физиологические команды он отдает хорошо. Эрзац бытия, конечно, полностью бездуховное существование...

— И сколько продлится такая безжизненная жизнь?

Врач пожал плечами: возможно, дня три или четыре, вряд ли больше. Я еще не знал, что они надумали, но спросил прямо:

— Зачем вы поддерживаете в теле Виккерса подобие жизни? Раз мозг умер, значит, умер и человек. Кому нужно продлевать тусклый огонек бытия на несколько дней? Через три дня и компьютер не поможет. Кладите Виккерса в саркофаг, консервируйте газом и первым звездолетом отправляйте на Землю. Можете то же самое сделать спустя несколько дней со мной. Не возражаю, чтобы нас отправили, так сказать, одной посылкой.

— На это отвечу вам я, друг Штилике, — сказал Мальгрем. Он сильно волновался, голос его дрожал. Я удивился. На Ниобее я видел его разъяренным, видел возмущенным, но что он способен смущаться, не ожидал, — Получена новая депеша с Земли. Лично о вас, Штилике. В общем, приказ Барнхаузу. Но Барнхауз уже улетел, значит, мне... Короче, если жизнь вашу сохранить не удастся...

— Не удастся, не удастся! — сказал я нетерпеливо. — Перейдем сразу к тому, что вы должны сделать после моей смерти. Не мешкайте, Роберт, это вам не к лицу.

— Да, вы правы, после вашей смерти... Ваш мозг объявлен столь выдающимся достоянием, что его... Иными словами, нам приказано, если не вас в целом, то ваш мозг доставить на Землю в полной жизнедеятельности.

— А этого вы сделать не можете, верно? Даже если сейчас же погрузите меня на звездолет. И десять дней жизни, ваш максимальный срок для меня, слишком мал для перелета. На Землю вы доставите мой законсервированный труп с неразложившимся, но мертвым мозгом. Я верно формулирую ваши опасения?

— Совершенно верно, — подтвердил врач. — И вот мы хотим с вами посоветоваться, ибо без вашего решения...

— Понял. Вы сохраняете тело Виккерса, чтобы составить из нас двоих одного человека. Думаете вживить мой мозг в черепную коробку Виккерса взамен его спаленного, умершего мозга. И для удачи операции нужно сделать это непременно при моей жизни, что невозможно без моего разрешения. Я не ошибся?

— Именно так, — в один голос сказали врач и Мальгрем.

— Разрешаю. Действуйте, — сказал я.

11

С тех пор прошло сорок лет, сорок долгих лет, сорок трудных, бесплодных лет. Врачи на Платее сделали все, что могли. Но что они могли? Составить из двух тел одно они сумели, такие операции отрабатывались еще на Земле. Я сам видел не раз собак, живых, веселых, энергичных, собранных по частям: от одного пса голова, от другого туловище, от третьего ноги и хвост; удачный продукт блестящего эксперимента — так неизменно назывались эти составленные твари. Для собак операция вполне годилась. Но не для человека. Можно, не отрицаю, даже из десяти тел составить одно. Однако как из двух личностей, только из двух, образовать одну?

Очнулся я уже на Земле. Врачи и Мальгрем отлично выполнили свое задание — доставить меня домой живым. Лучший способ сохранить жизнь — оставить лишь самые слабые ее проявления, чтобы в пути не растратились ее ничтожные запасы. Во мне, едином из двух, жизнь не возродили, а законсервировали в тлеющем состоянии. И только на Земле, не очень надеясь на успех, так врачи сами мне потом объяснили, меня вывели в нормальное существование. Я раскрыл глаза и взглянул на мир. Мир исчерпывался больничной палатой и очертаниями двуглавого Арарата в раскрытом окне. Была весна, в окно врывались томные ароматы цветущих абрикосов, могучий дух распаренной земли. Я вспоминал себя. Я был на Земле, но сознанием оставался еще на Платее, маленькой неухоженной планетке в системе двух грозных звезд — Гармодия и Аристогитона. Я знал о себе, что не то уже погиб, не то погибаю — обрубком человека. Это было первым, что я вспомнил, — что я без ног. Я откинул одеяло, с опаской ощупал свое тело — ноги были на месте. И тогда я отчетливо вспомнил, что это не мои ноги, а ноги погибшего Виккерса. И еще несколько минут я думал, что к моему туловищу просто прирастили чужие ноги — радикально подремонтировали.

С трудом я приподнялся на кровати, встал на пол: надо было размять чужие ноги, ставшие моей неотъемлемой собственностью. Ноги функционировали прилично — удержали без дрожи туловище, свободно понесли его к окну и обратно к кровати, так же свободно притопнули, сперва левая, потом правая. «Хорошие ноги, — мысленно похвалил я, — Пожалуй, даже лучше моих прежних, те годились лишь на ходьбу, а на прыжки и гимнастические упражнения их не всегда хватало».

После небольшой прогулки по палате мне захотелось посмотреть на себя. Зеркала в палате не было. Я подошел к окну, вгляделся в оконное стекло и чуть не отпрянул в испуге: на меня моим отражением глядел Виккерс. Я снова приблизил лицо к стеклу и снова увидел его. Только теперь вспомнилось все. Меня не подремонтировали, меня переменили. Я сам приказал так поступить со мной. Не на кого пожаловаться — некого винить! Я продолжал вглядываться в себя: я был Виккерсом, таким же красивым, молодым, темноволосым. Та же его особая, ироничная, немного кривоватая улыбка пересекала лицо, когда я захотел улыбнуться. И только одно отличало теперь меня от прежнего Джозефа-Генри Виккерса: я, нынешний Виккерс, похудел, глаза не вспыхивали, я был чертовски измучен и вымотан. «Неудивительно, — сказал я себе, — ведь в обоих моих телесных воплощениях я умер, а от смерти, даже если потом воскреснешь, устаешь не меньше, чем от тяжкой работы».

Я вернулся в постель, лежал, думал. Кто я? Штилике? Виккерс? Да, конечно, облик Виккерса, а интеллект? Что господствует ныне во мне — тело Виккерса или мозг Штилике? Я скоро, быть может, выйду из больницы, буду ходить по улицам моего родного города. Кем выйду? Кем буду ходить? Как назову себя прежним знакомым, прежним друзьям? Чуждым им Виккерсом? Или Штилике? Я буду тем, кем знаю себя, тем, чье детство, отрочество, взрослость я помню, — личность сохраняется тысячами пережитых событий и дат. Услужливая память немедля возобновила во мне жизнь Штилике, все мельчайшие детали той жизни полноценно сохранялись во мне. «А что я помню о жизни Виккерса?» — спросил я себя. Ничего не вспоминалось и не зналось о Виккерсе до того момента, когда он вошел в кабинет Барнхауза для встречи со мной.

«Итак, все ясно, — сказал я себе, — никакой я не Виккерс, я Штилике и иным быть не могу».

В палату вошел врач и радостно заулыбался, увидев, что я лежу с открытыми глазами.

— Как чувствуете себя, Виккерс? — сказал он сердечно, — По графику выздоровления, рассчитанному компьютером, вы должны были пробудиться завтра. А вы очнулись сегодня. Считаю это очень благоприятным фактом. Уверен, что быстрое восстановление сил гарантировано. Скажите теперь, чего бы вы хотели?

Я с минуту придумывал, чего мне хочется. Врач ожидал с той же доброжелательной и радостной улыбкой. Он гордился, что лечит меня лучше, чем рассчитал компьютер.

— У меня вроде бы некоторые провалы в памяти, сказал я осторожно. — Что-то вроде небольшой амнезии. Не сообщите ли, что, собственно, со мной происходило? Если это возможно...

— Возможно, вполне возможно, — заверил меня врач.

Тот же компьютер предсказал, что психика моя после пробуждения будет прочной и действенной, скрывать от меня ничего не надо. Итак, операция. Она оказалась довольно сложной. Слишком уж тяжелой была авария, тело сохранилось в целости, но мозгу нанесли неизлечимые повреждения. В общем, летальный исход стал неизбежен. Подключение искусственного мозга кое-что дало, но ведь это паллиатив — искусственный мозг, он для жизни не годится. Никто еще не ходил, таща за собой на грузовике сооружение, называемое искусственным мозгом. К счастью, вместе со мной погибал еще один астронавт и у него как раз тело получило неизлечимые ранения, а мозг сохранился удовлетворительно. Мне пересадили его мозг, и я возродился к жизни.

— Чей же мозг мне пересадили? — спросил я.

Врач на мгновение замялся.

— Честно говоря, не знаю. В истории болезни имени вашего погибшего спасителя не назвали. Впрочем, нам известно, что секретный доклад о драме на Ниобее, а стало быть и о подробностях операции, передан правительству. Уверен, что, если вы потребуете, вам его покажут, и тогда вы узнаете, чей важный орган вам пересажен. Впрочем, мне думается, это не так уж существенно. Главное — вам спасли жизнь, а мы здесь, на Земле, восстановим ваше здоровье.

Поболтав еще, он оставил меня наедине с моими невеселыми мыслями. Итак, никакой я не Штилике, я — Виккерс, как записано в истории моей болезни. У врача и сомнений не появилось, что меня надо называть только так, а не по-другому. Он и не поинтересовался, чей мозг пересажен в тело Виккерса, примат тела перед мозгом для него бесспорен. Не был ли он бесспорен и для Мальгрема с его тамошним врачом, ведь они прямо назвали меня Виккерсом в истории болезни, вовсе не Штилике? Кто же я теперь для себя и для окружающих? Что для себя я — Штилике, сомнений нет. Но что для остального мира я — Виккерс, я уже понимал. Мысли мои метались, я не мог совместить своей души с телом. Столько писали о раздвоении личности, о двух душах, противоборствующих в одном интеллекте, — смешные водевили и кровавые трагедии. Во мне нераздвоенный интеллект не координировался с телом, я не знал, как надо обозначить такое редкостное явление. И уж во всяком случае но догадывался, как практически уживусь с такой раздвоенностью.

Для уяснения того, как мне отныне вести себя, я, выйдя из больницы, посетил Барнхауза на его квартире. Я спрашивал о нем еще в больнице, мне сказали, что он назначен на Латону, там развернули большое строительство — обширная для него возможность применить свои административные дарования.

Дверь мне открыла Агнесса Плавицкая. Она испугалась, увидев меня. Все те же двойные золотые колокольчики качались в ее ушах. Они приветствовали меня нежным, радостным перезвоном.

— Джозеф, вы? — восторженно воскликнула она. — Боже мой, живой, здоровый! Питер, Питер! — закричала она. — К нам гость, самый дорогой гость! Ты просто не поверишь, кто пришел!

Из дальней комнаты выскочил Барнхауз. Он заключил меня в объятия. Если он и вправду был из «медведей средней руки», как именовал его Теодор Раздорин, порода этих медведей относилась к самым могучим.

— Повернитесь, Джо, друг мой! — командовал он, вращая меня по кругу. — Нет, и спереди, и сзади, и с боков — полная норма! А ведь мы уже горевали с Агнессой, что вас нет на свете. После этого пусть не говорят мне о слабости современной медицины! Так восстановить вас сам господь бог не сумел бы, хотя, по легендам, он часто практиковался в исцелении и даже воскрешении. Куда вы теперь, дорогой Джо? Останетесь на Земле?

— Вряд ли, — отвечал я, — Попрошусь куда-нибудь подальше.

— Летим на Латону, — предложил Барнхауз. — Отличное местечко. Жуткие перспективы. Никаких нибов и прочих людоедствующих аборигенов. Что вас держит на Земле?

— Ничего не держит, — сказал я. — Но Латона но привлекает — слишком шумная планета, чуть ли не половина человечества устремилась туда. Мне бы что победней и поглуше. Ниобея отбила у меня вкус к перспективным планетам.

Я говорил непринужденно, даже улыбался — что еще оставалось? Барнхауз помрачнел.

— Да, Ниобея, Джозеф, Ниобея! Вот уж где перспективы, другого столь же богатого шарика в космосе не найти. Если бы не этот человеконенавистник Штилике, я бы с помощью Ниобеи такое дал ускорение промышленности на Земле! Поворот всей нашей истории, не меньше!

Агнесса сказала с мягкостью, какой я не ожидал от нее:

— Штилике не ненавистник, Питер, он фанатик. У него глаза безумца, так мне всегда казалось. Он и жизни своей не пожалеет ради своей мрачной идеи — вытаскивать недочеловеков из пропасти. Страшно даже вспомнить, как он весь спружинивался, когда ты возражал ему. Я и сейчас содрогаюсь, лишь подумаю об этом.

— Мрачный, мрачный! — радостно подтвердил Барнхауз. — В общем, мир его праху! Поменьше бы таких деятелей. Но насчет идеи ты не права, Агнесса. Я тоже жизнь отдам за свою идею. Но какую? Безмерно умножить благоденствие человечества — вот моя идея. Идея идее рознь, вы не находите, Джозеф?

— Да, идеи бывают разные, — согласился я и стал прощаться, ссылаясь на то, что еще не вполне восстановил свое здоровье.

От Барнхауза я пошел в Управление Дальнего Космоса. Помню, что очень боялся всех прохожих. Среди них могли быть знакомые Виккерса. Кинулись бы ко мне с расспросами, а я никого из них не знаю — что им говорить?

В Управлении я направился к Игнатию Скоморовскому. Он подписывал мою командировку на Ниобею, он распорядился доставить мой мозг живым на Землю. Не ученик, но друг Раздорина, Скоморовский уже лет тридцать заведовал всеми делами на всесолнечных планетах. Он не мог не знать, как из двух разнохарактерных людей составили одного человека.

Он дружески обнял меня, не так мощно, как Барнхауз, но еще теплей. Однако по тому, как деликатно он отвел глаза, я понял, что ему больше чем просто непривычно мое преображение. Он не смог сопоставить меня с моим теперешним обликом и растерялся: признаваться в том либо промолчать?

— Как, по-вашему, Игнатий, кто я теперь — Штилике или Виккерс? — спросил я прямо.

Он с полминуты помолчал, перебарывая неприятие моего нынешнего образа.

— Для нас вы всегда Штилике, — сказал он твердо, — И для будущих поколений тоже.

— Да, после моей смерти, Игнатий. Когда вы наконец погрузите мой сохраненный мозг в консервирующий раствор. Но это не скоро. Смерть моя отодвинулась, я ведь вернулся с Ниобеи на четверть века моложе, чем улетел туда. Так что с водворением мозга в Музей придется погодить.

Он отпарировал, что такую задержку с превращением в музейный экспонат от души приветствует и одобряет. Я гнул свою линию. Для себя я — Штилике, для всех кроме нескольких посвященных в тайну, — Виккерс. Это становится нестерпимым. Я чувствую себя актером, вынужденным играть нелюбимую роль. Мне надо срочно умчаться куда-нибудь, где меня не знают.

— В качестве всем известного социолога Василия Штилике, я так вас понимаю? — спросил он.

— В качестве мало кому известного Джозефа Виккерса, — отрезал я. — Я надел едва ли подходящую мне маску, но она срослась со мной, снять ее не могу.

Игнатий Скоморовский предложил мне Матряну, планетку объемом в три-четыре Земли, спутник белого карлика Саломеи. Астросоциологу на Матряне дел немного: небольшое поселение людей, никаких зверей и туземцев, мирная, упорядоченная жизнь. На этой благословенной планетке я провел следующие двадцать лет, ничем не отметив их — ни важными делами, ни крупными событиями. И я не желал ни важного, ни крупного. Я был Штилике, но прежнего Штилике — энергичного, целеустремленного, властного, в общем фанатика, как обозвала меня Агнесса Плавицкая, не существовало, и следов этого былого Штилике я не находил в себе. И Виккерсом я остался лишь по фамилии и облику. Смена тела оказалась отнюдь не похожей на смену одежды, как представлялось мне поначалу. Я перестал быть Штилике и не стал Виккерсом. Кем я был те двадцать лет на Матряне? Не знаю. Добросовестным средним работником, тусклой личностью — не выше того. «Ни богу свечка, ни черту кочерга» — как именовали таких наши предки.

Так я постиг великую истину, еще никому, кроме меня, не известную во всей своей трагической полноте. Мы привыкли отделять характер от внешности, интеллект от телесного образа. Этот человек умен, строг, решителен, способен к творчеству, а высокий он или низкорослый, красивый или уродливый, толстый или худой, быстрый или медлительный — все эти внешние признаки малозначащи, они характер не определяют. Таково обычное мнение. Я на своем невеселом опыте доказал, что оно ошибочно. Мозг Штилике, внедренный в тело Виккерса, потерял девять десятых своих возможностей. Теперь вижу, что раньше — некрасивый, низкорослый, медлительный — я был в своем роде выдающейся личностью. И Виккерс был незауряден — быстрый, решительный, энергичный, целеустремленный. Нас объединили в одно целое — и породили среднего человечка: исполнительного, старательного работника, звезд с неба не хватающего и пороху не выдумывающего. В нас сохранились наши недостатки, наших достоинств поубавилось, некоторые и вовсе потерялись. Я уже не уверен, что мозг Штилике, освобожденный от тела Виккерса в момент моей смерти, займет свое место в назначенном ему саркофаге именно таким, каким его хотели бы видеть.

И, окончательно убедившись, что настоящего возрождения мне не ждать, я вернулся на Землю. Теперь я консультант Музея Космоса, заслуженный, но ничем особенным не выдающийся астроинженер Джозеф-Генри Виккерс на отдыхе. В «пантеонном» зале стоит пустая урна, ожидающая мой мозг. В Музее знают, что где-то обретается живой человек, носящий в себе мозг знаменитого астросоциолога, но что это за человек, где он, не знает никто. И вряд ли кто поверит, если бы я и признался, — слишком уж мало схож непритязательный консультант с человеком, ставшим символом мужественного звездопроходца. А я неожиданно признался молодым парням и девушкам, вылетающим на далекую Ниобею, — они поверили! Почему я сделал это? Обрадовало, что так долго закрытая планетка снова раскрывается? Что же там произошло? Погиб ли навеки несчастный народ нибов или стараниями тех, кто пришел после меня, возрожден к новой жизни? Или тебе смертно захотелось полететь туда с ними, Василий-Альберт Штилике — Джозеф-Генри Виккерс?